

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА», МОСКВА № 46 НОЯБРЬ 1986

АНАТОЛИЙ
ЛУНАЧАРСКИЙ — ПОЭТ



НА УЧАСТКЕ —
БЕЗ ЧП



ЮБИЛЕЙ
ЛОМОНОСОВА

РАССКАЗ
ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА



РОЛИ
НИКОЛАЯ
КАРАЧЕНЦОВА



ЗОЛОТАЯ
ПАРА

С ОКТЯБРЕМ



М СВЕРЯЯ ШАГ



Праздник особый —
века революции;
значит, самое время
поразмуслить,
с каким багажом
пришли
к шестьдесят девятой
годовщине.
Уговорились
наши корреспонденты
с гостями
Красной площади так:
праздник праздником,
но беседовать
будем
о насущном,
о том, что беспокоит
нынче,
на крутом
повороте страны,
каждого
советского гражданина.

Витаутас КОЛМАТАВИЧУС, брига-
дир наладчиков автоматов литов-
ского производственного объеди-
нения «Нерис»

— Пожалуй, лет пятнадцать под-
ряд мне доверяли быть знамени-
щем нашего предприятия в празд-
ничные дни. В нынешнем году свою
почетную привилегию я передал
Олегу Валуеву. Молодой рабочий,
оператор станка с числовым про-
граммным управлением, достой-
ный наследник рабочей семьи, ко-
торая трудится у нас на «Нерисе».
Да и парень он хороший. При-
знаться, по всем данным Олег
олицетворяет не только современ-
ного человека труда, но и вообще
очень важный период в жизни
страны — время обновления, пере-
мен, перестройки. Оно характер-
но довольно заметным, я бы ска-
зал, молодым мышлением, а по-
тому новым и нестандартным.

Что бы ни говорили о нашей мо-
лодежи, как бы своеобразно по-
рой ни проявляли себя иные юно-
ши и девушки — совершенно оче-
видно, что на производство при-
ходят толковые ребята. Все дело
только в том, как и кто их встре-
чает. Ведь каждый требует своего
особого внимания. И тут очень
много зависит от человеческих
качеств наставника — его выдерж-
ки, умения разобраться в парне,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ОГОНЁК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан
1 апреля
1923 года

№ 46 (3095)

15—22 НОЯБРЯ

© Издательство «Правда», «Огонек», 1986

Главный
редактор — В. А. КОРОТИЧ.

Редакционная коллегия:

Д. В. БИРЮКОВ,
К. А. ЕЛЮТИН,
В. П. ЕНИШЕРЛОВ,
Д. К. ИВАНОВ
(ответственный
секретарь),
А. Ю. КОМАРОВ,
Б. А. ЛЕОНОВ
(первый заместитель
главного редактора),
Ю. В. МИХАЛЬЦЕВ,
В. Д. НИКОЛАЕВ
(заместитель
главного редактора),
Ю. В. НИКУЛИН,
А. Г. ПАНЧЕНКО,
А. Б. СТУКОВ,
С. Н. ФЕДОРОВ,
Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.

Оформление Е. М. КАЗАКОВА.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27;
Отделы: Публицистики — 212-21-88; Коммуни-
стического воспитания — 250-38-17; Междуна-
родный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69;
Искусства — 212-15-39; Писем и массовой ра-
боты — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформле-
ния — 212-15-77; Литературных приложений —
212-22-13.

Сдано в набор 24.10.86. Подписано к печати
12.11.86. А 00759. Формат 70×108¹/₈. Глубокая
печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55.
Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 485 000 экз. Изд.
№ 2958. Заказ № 3827.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Револю-
ции типография имени В. И. Ленина издатель-
ства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва.
А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП,
Москва, Бумажный проезд, 14.

событие недели

10—11 ноября 1986 г. в Москве состоялась рабочая встреча руководителей братских партий социалистических стран — членов СЭВ. Во встрече приняли участие и выступили: Генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии, Председатель Государственного совета НРБ Т. Живков, Генеральный секретарь Венгерской социалистической рабочей партии Я. Кадар, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, Председатель Государственного совета СРВ Чыонг Тинь, Генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии, Председатель Государственного совета ГДР Э. Хонеккер, Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Председатель Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Ф. Кастро, Генеральный секретарь ЦК Монгольской народно-революционной партии, Председатель Президиума Великого Народного хурала МНР Ж. Батмунх, Первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии, Председатель Государственного совета ПНР В. Ярузельский, Генеральный секретарь Румынской коммунистической партии, Президент СРР Н. Чаушеску, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза М. С. Горбачев, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии, Президент ЧССР Г. Гусак.

Руководители братских партий обсудили кардинальные проблемы развития и совершенствования сотрудничества между социалистическими странами, возможности более полного раскрытия созидательного потенциала социализма. Особое внимание было уделено дальнейшему углублению отношений в экономической области, использованию новых, наиболее прогрессивных форм хозяйственного и научно-технического взаимодействия в интересах ускорения социально-экономического развития братских стран, повышения благосостояния их народов.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам современной международной обстановки. Поддержав принципиальную позицию Советского Союза в Рейкьявике, участники встречи подчеркнули необходимость наращивания совместных усилий в интересах борьбы за ликвидацию ядерных и сокращение обычных вооружений, за укрепление мира и международной безопасности.

Встреча прошла в атмосфере сердечности и откровенности, взаимопонимания и единства по всем обсуждавшимся вопросам.

Фото ТАСС



в его интересах, в семейной обстановке. С одним, скажем, надлежит быть строже, а другого лучше лишний раз похвалить, и ему такое будет только на пользу.

Вот и у меня сейчас двое подопечных — Тадик Шиманель и Володя Невельский, после армии учатся пятый месяц в бригаде. Толковые, способные ребята, трудолюбивые и думающие. И, пожалуй, самое главное — четко определившие свое место в жизни. Они, кстати, готовятся к вступлению в партию, что подтверждает их активную гражданскую позицию в обществе.

Воспитание подрастающей смены — дело не только конкретного наставника, но и коллектива. Сегодня наша бригада — это дружелюбный по отношению к ученикам коллектив. И сейчас мне даже самому не верится, что несколько лет назад я с большой опаской согласился пойти в эту бригаду. Плана она не выполняла, дисциплина

тоже была не на высоте. Но коллективу сильно помогли и общественные организации, и руководство. Теперь мы не просто группа наладчиков, работающих по бригадному подряду с учетом коэффициента трудового участия. Мы коллектив единомышленников.

Очень многое зависит от рабочего человека, от степени его влияния на производство. Наша продукция пользуется немалым спросом у животноводов страны. Мы выпускаем для них АВМ — агрегаты витаминизированной муки. Одна из претензий потребителей касалась некачественной окраски оборудования: пока оно доставлялось до места, металл покрывался ржавчиной. В ходе идущей на предприятии реконструкции мы уделяем много внимания вводу в действие нового цеха отделки. Да и по всем циклам технологии все крепчает борьба за качество: через некоторое время на предприятии начнет работать комиссия по государственной приемке продукции.



Татьяна ЗЕНКОВА, директор Семипалатинской средней школы

— Вот уже десять лет, как я работаю директором в своей школе. Здесь я училась, сюда приходила на педагогическую практику, а в двадцать шесть стала ее директором. Иной раз о механизаторе в хорошем смысле говорят: сросся человек с землей. Я же срослась со школой, а потому все ее беды и радости воспринимаю особенно остро. Школьной реформе три года скоро исполнится, а сколько еще проблем пока не решено! Сколько острых вопросов не получили пока ответа!

Взять мой родной Семипалатинск. Город растет, ширится, а школ пока что не хватает. Нет, мы, конечно, строили школы, но строили не торопясь, с эдакой раскачкой — раз в пять, в шесть лет. И дожили до того, что, скажем, в нашем районе — а район

это большой, промышленный — не хватает по меньшей мере трех — пяти школ. А что в результате? А то, что по ходу реформы мы вынуждены были отказаться от приема шестилеток, не смогли открыть мастерские для производственного труда.

Школа перегружена. В этом году в первых классах примерно по сорок три человека. Ребятам не только недостает учительского внимания, им просто воздуха не хватает. Учатся они в две смены, сидят в школе до половины восьмого. А те, кто хочет позаниматься дополнительно, посетит факультатив или секцию, появляются дома в девять, полдесятого. Куда это годится?

Глубоко убеждена, в школе должны работать подлинны педагоги, а не «предметники». Этой цели, видимо, и должна быть подчинена кадровая перестройка. Кое-какие изменения уже произошли либо происходят. Скучные уроки труда преобразились. Теперь ребята выполняют заводские заказы. Работа детей учитывается плановиками.

Но даже сегодня, в этот праздничный ноябрьский день, не позволю вкратце в сердце благодущию, то и дело спрашиваю себя: а что ты сделала, чтобы изменить школу к лучшему?



На праздновании 69-й годовщины Великого Октября в Советском Союзе было много иностранных гостей.



Тахар Бен Алиша, алжирский писатель и журналист

— Значение Октябрьской революции для тех, кто борется против империализма и реакции, огромно. Я счастлив, что встречал 69-ю годовщину Великого Октября вместе с советским народом. Надеюсь, вернувшись домой, написать о своих впечатлениях.

Круг интересов этого человека чрезвычайно широк. Он пишет по вопросам современной литературы, изучает историю исламских цивилизаций, является знатоком древних восточных школ дидактики, старинных народных ремесел и традиций.

Неутомимый путешественник, Тахар за рулем автомашины проехал

по мусульманским государствам Африки. Итогом поездки стала многочасовая телепрограмма об особенностях труда, быта, культуры народов.

— Первый раз я посетил вашу страну ровно десять лет назад, — рассказывает писатель. — Побывал в Москве, Ялте и Ташкенте. Когда знакомился с Узбекистаном, меня поразило сходство в образе жизни этой республики и моей страны. Даже лица узбеков напоминали мне соотечественников. Возникло желание подготовить программу о мусульманах в СССР, и вскоре эта идея осуществилась. В течение месяца я с телегруппой ездил по трем республикам — Азербайджану, Узбекистану и Таджикистану.

Я сам читал во французской «Монд», будто мусульман в СССР притесняют, у них нет тех прав, которыми могут пользоваться атеисты. Снимая наши фильмы, мы стремились объективно и честно рассказать, как на самом деле живут верующие. Сериал знакомил алжирцев с мусульманами Кавказа и Средней Азии, зрители могли убедиться: верующие пользуются теми же правами, что и в мусульманских странах.

И еще. Путешествуя по Советскому Союзу, встречаясь с людьми разных национальностей, возрастов, профессий, мне кажется, я почувствовал главные черты характера советского человека — доброту, щедрость и благородство души. Думаю, что эти черты во многом унаследованы от мужественных революционеров, штурмовавших в 1917 году Зимний дворец.



Диего Томас Ленсино

В 1938 году юный сержант республиканской армии Испании Диего Томас Ленсино приехал на учебу в Кировабаскую школу летчиков. Обстоятельства, однако, не позволили ему вернуться на родину: республика, за которую они героически сражались, была разгромлена.

Теперь Диего Ленсино прилетел впервые из Мадрида в Москву спустя тридцать лет после своего отъезда в Испанию.

— С 1939 года для меня начался русский период, — вспоминает он. — Вместе с товарищами стал работать на автосборочном заводе в Ростове-на-Дону. Наша бригада так и называлась — «Мадрид». До сих пор храню пожелтевший, ломкий от времени листок — талон, которым закрывали наряды на заводе. На нем написано: «Бригада «Мадрид» сдала автомашину».

Началась Великая Отечественная. Диего Ленсино вместе с товарища-

ми и заводом уезжает в Казахстан. Но работа в тылу его не устраивает. С 1943 года он на фронте.

— Когда война окончилась, стал жить в Москве. Имел хорошую работу, много друзей, здесь выросли сын и дочь. Казалось бы, что нужно для счастья такого немолодого человека, как я? Но желание вернуться домой, увидеть родную землю победило, и в 1957 году мы с семьей уехали в Испанию.

В Мадриде поступил работать на тракторный завод. Нас называли «русскими». Как-то ко мне подошел товарищ и спросил: «Ты недоволен, что тебя так прозвали?» В ответ я искренне удивился: «Да я горжусь этим!»

...Да, им есть что вспомнить. Кровавопролитные бои под Уэской и Гвадалахарой, оборона Мадрида, погибшие друзья и близкие. Навсегда остались молодыми интербригадцы, плечом к плечу защищавшие республику. Трагическое, но, несмотря ни на что, прекрасное время молодости. Тогда, во время гражданской войны, у республиканцев одним из приветствий было гордое «пасаремос» — «мы пройдем». И они действительно прошли по жизни славным и трудным путем.

**Беседовала
Татьяна АНДРИАНОВА.**

**Фото
Д.М. БАЛЬТЕРМАНЦА,
А. БОЧНИНА,
А. ГОСТЕВА,
Г. КОПОСОВА
и С. ПЕТРУХИНА**



перестройка: проверка делом

Дм. ЛИХАНОВ.

Фото С. ПЕТРУХИНА

днажды на небольшом заводе старый токарь, проработавший здесь лет сорок, похвалился своим инструментом. Он был обернут в промасленную тряпицу, уложен в деревянный ящик, который мастер непременно замыкал на ключ.

— Сокровища мои,— приговаривал он, раскладывая на столе разного размера резцы и сверла.— Много лет они в работе, а, почитай, как новенькие. А почему? Да потому, что металл особой прочности.

В том металле было восемнадцать процентов вольфрама. Оттого и инструмент из него долговечнее любого другого. Однако щедрое время, когда металлурги не скупилась на вольфрам, давно миновало. Запасы этого ценного сырья в мире год от года скудеют, растет его стоимость, а потому и расходовать его стали значительно бережнее. Но чем меньше в резцах вольфрамовых добавок, тем быстрее они снашивают-

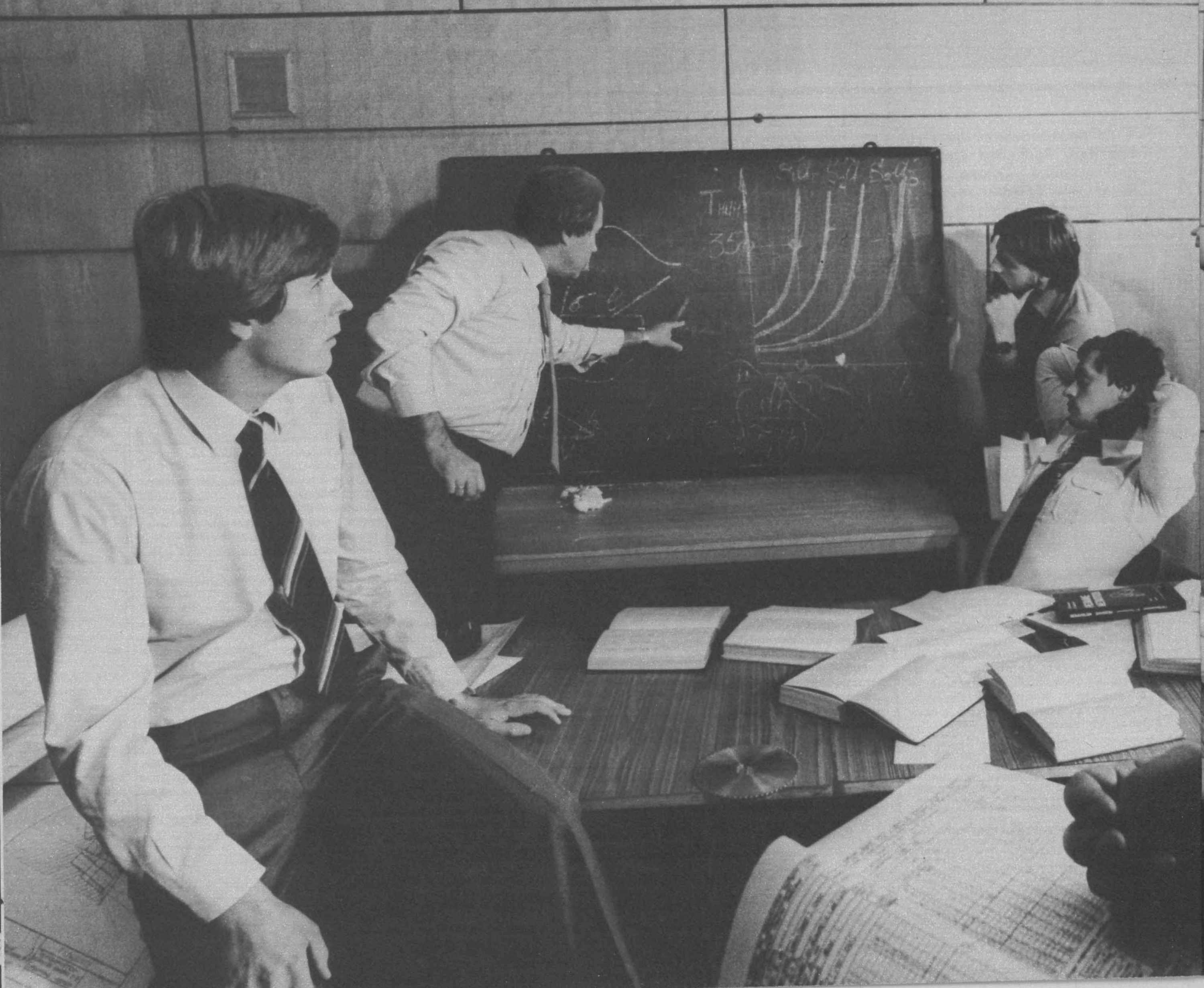
ся—поработают недолго, и на переплавку. А от инструментальщиков требуют, чтобы фреза прослужила положенный срок. И вполне справедливо требует металлист качество. А уж как его сотворили, с какими усилиями—это дело изготовителя. И получается, что инструментальщики постепенно оказались в положении сказочного героя, который должен принести «то, не знаю что»...

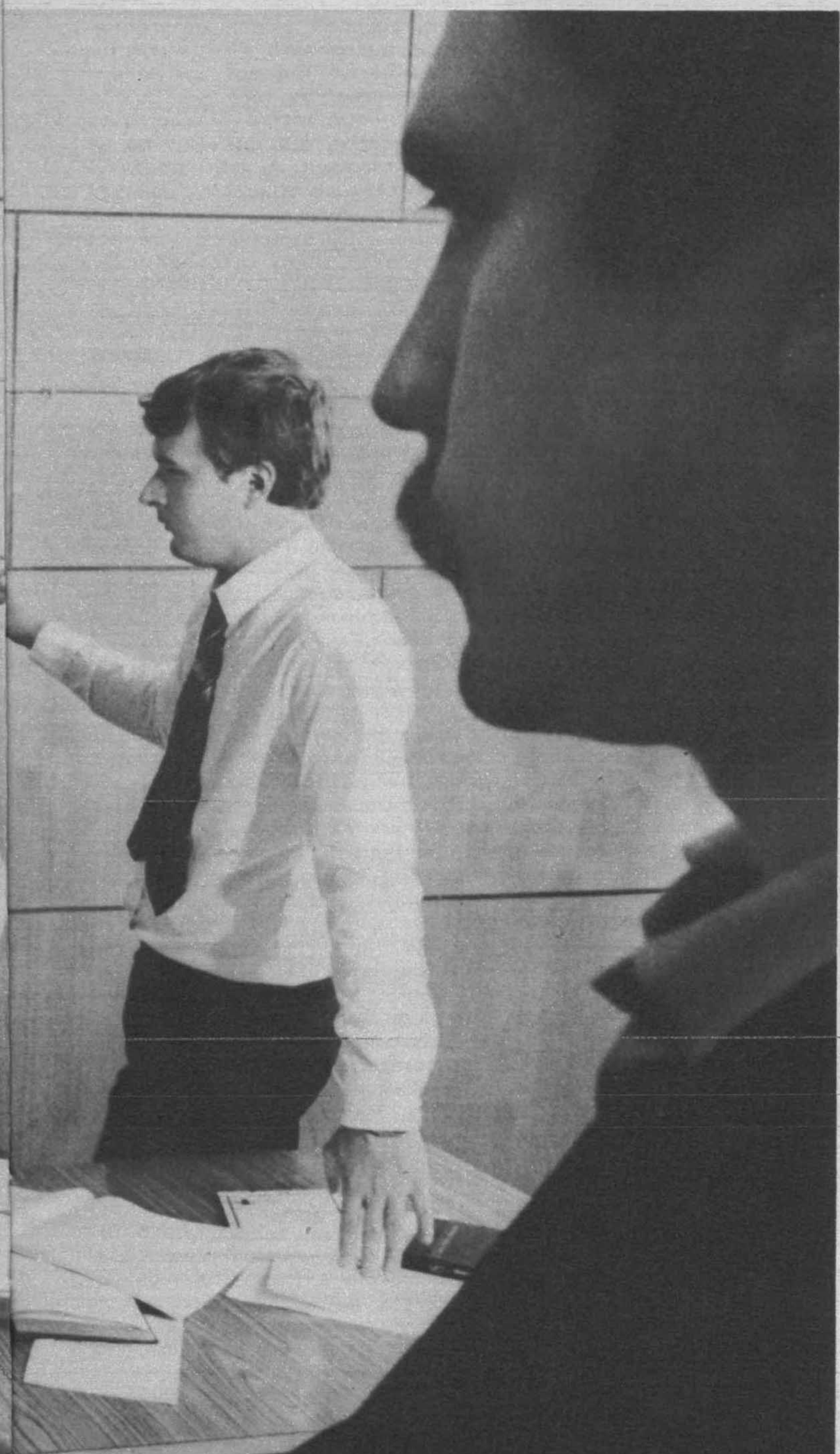
Такова суть проблемы.

У проходной Московского инструментального завода висело объявление: «Требуется оператор для работы на установке «Булат». Через день его сняли—видимо, специальность оператора экзотического «Булата» нашла приверженца. Кстати, на инструментальных заводах страны «Булат»—агрегат уже далеко не экзотический. Несколько лет тому назад его проект разработали ученые харьковского Физико-технического института. А Московский инструментальный завод первым внедрил



ФОРМУЛА СТОЙКОСТИ





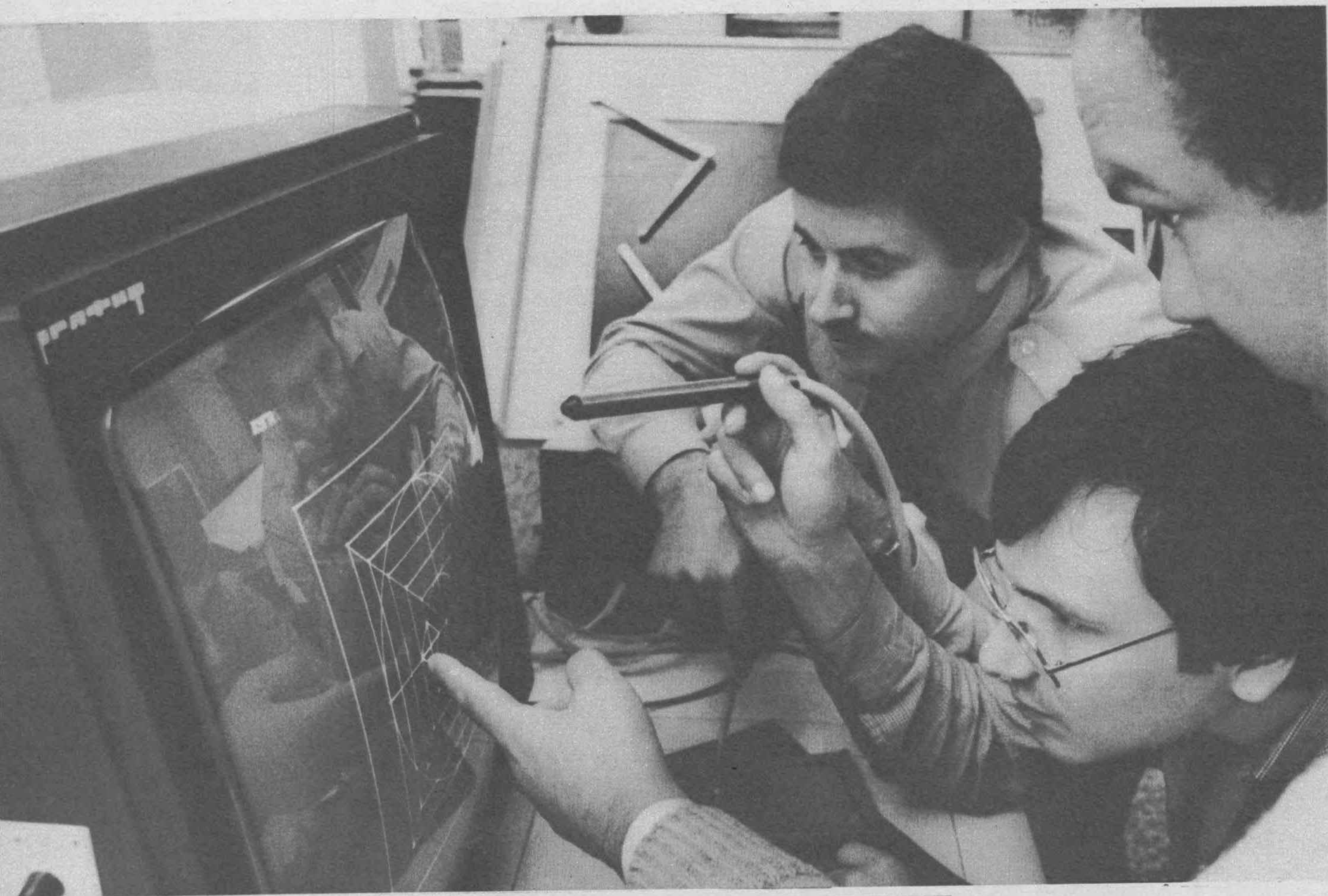
Центральная измерительная лаборатория.

В лаборатории резцов и фрез.

Шлифовщик Олег Демир.

его в повседневную практику. Теперь на МИЗе двенадцать таких установок.

Продукция «Булата» — стальной долбежный инструмент и фрезы, которые после четырехчасовой бомбардировки ионами нитрида титана обретали на зависть алхимикам средневековья пронзительно-золотистый цвет. Разумеется, не ради эффектной окраски обрабатывают инструменты «Булаты». Главное — стойкость. А она после ионного горнила повышается вдвое. Установки «золотят» сталь весьма надежно и качественно. И не только в прочностном, но и в экономическом смысле.



**Хотя проект
конструкторских
расчетов
и автоматизирован,
но...
надо подумать.**

**Фрезеровщик
Виктор Жаров.**

ле — патент на производство «Булатов» закупили специалисты США.

Но, по мнению заводских специалистов, «Булат» не последнее решение многочисленных проблем металлорежущего инструмента. И уже сегодня на МИЗе стремятся приблизиться к требованиям завтрашнего дня, продлить жизнь резцов и фрез. Совсем недавно здесь стала действовать установка по ионному азотированию металла, опробовали укрепление режущей кромки инструмента лазером. Те, кто разбирается в инструментальном деле и знает конъюнктуру мирового рынка, убеждены: многое из продукции завода по своим качествам не только не уступает зарубежным образцам, но и превосходит их. Тут бы мизовцам в самую пору ощутить удовлетворение: вот, мол, перестроились, ускорились и прочее...

Однако беседа с главным инженером МИЗа Анатолием Михайловичем Лейном (кстати, поздравил его с присуждением звания лауреата Государственной премии СССР) может отрезвить кого угодно.

Поначалу мы вспомнили третий закон Ньютона: действие всегда равно противодействию. Он будто бы предусмотрен для техники и механики, но подходит и для общественной жизни. А в нынешние времена особенно...

— Конечно, противодействие встречается разное, — трактует закон Ньютона Анатолий Михайлович. — Бывает оно явным, намеренным, но бывает и неумышленным. Однако вред от любого про-

тиводействия одинаковый. Например, всем известно, что политика корректировок планов вредит производству и резко осуждена недавним съездом. Нам обещали: дадим вам твердый план! Ну, думаем, вот расчудесные времена настали... Рано радовались — с начала года цифры по ширпотребу нам увеличивали уже три раза. А результат? Нервозность, авралы, рабочие недовольны. И больше всего страдает качество продукции...

Откуда столько непродуманных решений и действий? Судите сами: наш завод выпускает особо точный, прецизионный инструмент. Но, кроме него, делаем и несложную продукцию, например, накатные ролики. Металл для этих изделий везут в Москву из Ижевска, хотя точно такие же ролики могут делать на Свердловском инструментальном заводе, делают в Томске. А Москва от Ижевска в два раза дальше, чем Свердловск. Или еще. В Москве есть завод тракторных гидроагрегатов. Им, знаю, позарез нужен металлорежущий инструмент, и мы могли бы их снабдить. Однако везут его гидравликам из того же Свердловска. Государство у нас, слов нет, богатое. Но копейку редко теперь считаем. А кабы прикинули, во сколько обходятся нам все эти бессмысленные транспортировки, вышла бы солидная сумма. Вот ее, на мой взгляд, следует предъявлять к оплате расточителям: вынь да положь. Тогда, быть может, крепче думать станут, как расходовать средства.

Теперь о внедрении. На съезде говорились и о том, что отечественная индустрия постепенно будет переходить на двухзвенную систему управления. Хорошо это? Безусловно! Меньше волокиты, бюрократизма, бумаготворчества. В свое время наш завод подчинялся главку и министерству, то есть существовала трехзвенная система управления. А теперь вместо сокращения наша система разрослась пуще прежнего.

Добавили еще одно звено — головной институт. Но ведь мы работаем по своим чертежам и по чертежам заказчика. По институтским же разработкам — такие инструментальные заводы, как «Фрезер» или Харьковский. Опытным предприятием института мы тоже быть не можем, потому что у нас серийное, а не экспериментальное производство. Институт, по сути, не что иное, как передаточное звено для бумаг. Кстати, я заметил, что в последнее время их стало еще больше...

Анатолий Михайлович пригласил секретаря.

— Сколько у нас писем и бумаг в день приходит?

— В день более ста, а в договорный период около восьмисот...

— В отделе главного технолога, — вспомнил Лейн, — как-то подсчитали, что у них на обработку таких вот документов уходит дватри человека-года. Сие — разновидность противодействия.

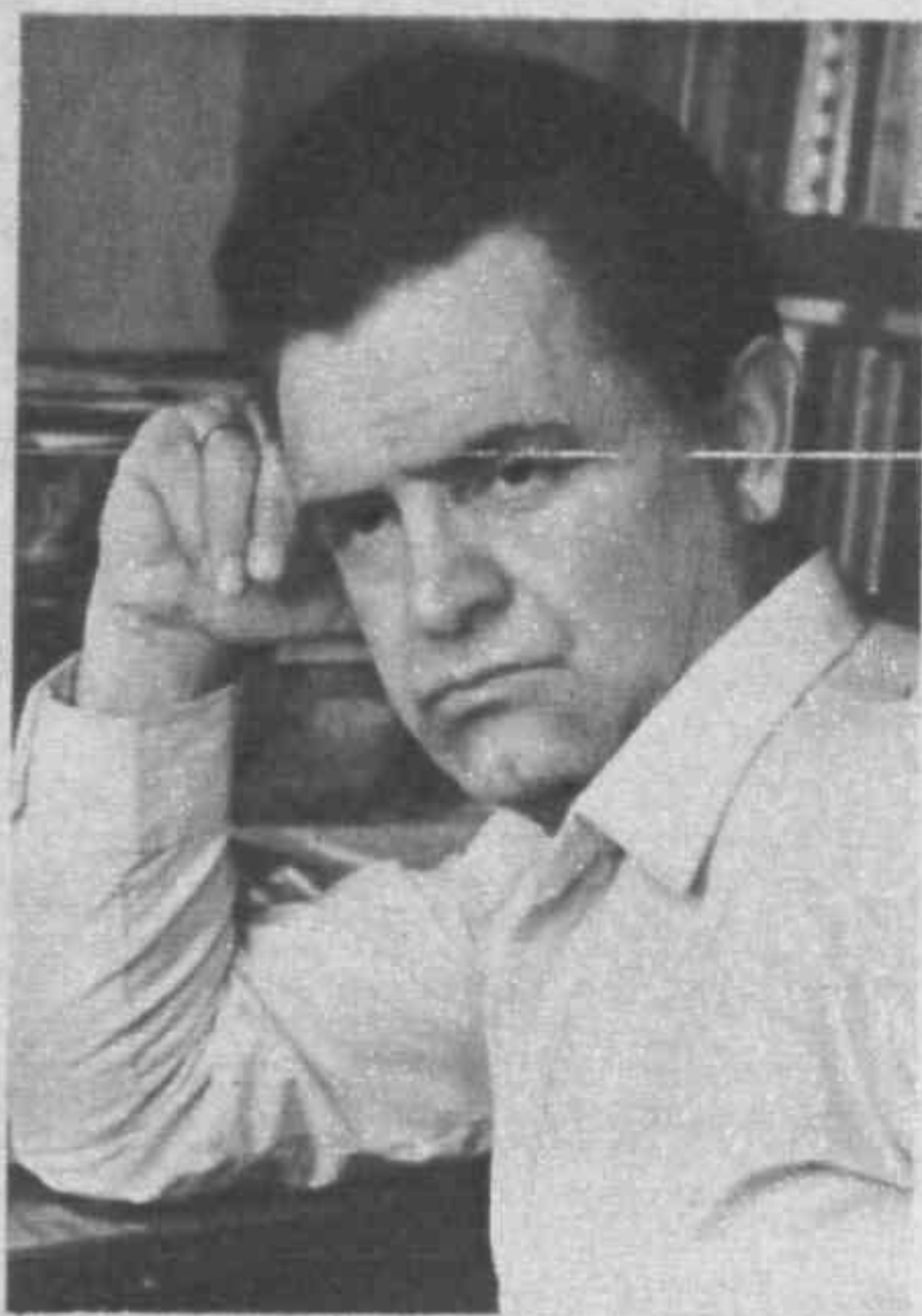
— Откуда же оно исходит?

— Из различных вышестоящих инстанций.

А ведь сколько полезного и нового могли бы сделать на МИЗе, если бы руководители отрасли невольно или сознательно не обращались с заводом по третьему закону Ньютона.

С заводом, где думающим людям развязаны руки, где прежде всего ценят способности и деловые качества человека.





**Фазиль
ИСКАНДЕР**

РАССКАЗ

Рисунок
Левона
ХАЧАТРЯНА

Ч

ик шел из школы, весело помахивая портфелем, и ни о чем не думал. И вдруг увидел! Напротив греческой церкви в десяти шагах от Чика стояла колымага собаколова. Хозяин колымаги, грузный мужчина в брезентовой робе, с лицом красным, как шматок сырого

мяса, держа в руке огромный сачок, подкрадывался к собаке. Он кинул ей кусок хлеба. Собака сначала недоверчиво понюхала подачку, потом осторожно взяла ее в рот и стала есть, уже благодарно поглядывая на собаколова и помахивая хвостом. О доверчивость мира!

Собаколов сделал несколько шагов в сторону собаки, но теперь она уже съела хлеб и, насторожившись, опасливо покосилась на сачок, который слегка развевался на древке в его вытянутой руке.

Собака замерла. Собаколов, продолжая неподвижно держать над собой сачок, свободной рукой полез в карман и слегка завопил там. Потом из кармана высунулся кусок хлеба, он его на ходу располовинил, прижав карман к телу («Еще других собак приманивать!» — мелькнуло у Чика), вытащил руку и кинул подачку.

Теперь хлеб упал на таком расстоянии, что до собаки можно было достать сачком. Чик с ужасом ожидал того, что должно случиться, и в то же время, удивляясь и стыдясь себя, чувствовал, что ему хочется, чтобы у собаколова все получилось.

На самом деле, но он этого не осознавал, в нем уже окончательно вызрело решение бо-

роться с этим негодяем, и душа его жаждала доказательной наглядности творимого зла.

Собака сделала несколько осторожных шагов, подобрала хлеб, снова взглянула на дрябло покачивающийся в воздухе треугольник сачка и стала есть хлеб, поглядывая на собаколова и как бы в такт жующим челюстям радуясь хвостом.

В следующий миг мешок сачка перевернулся в воздухе и, с хищной телесностью раздувшись на лету, прихлопнул собаку. Раздался раздирающий душу плач собаки. Собаколов быстро перебрал руками поближе к сачку, мерзко гребанув сачком по земле, перевернул и поднял в воздухе сачок с кричащей и барахтающейся собакой внутри.

Он быстрыми шагами подошел к дверце колымаги, расположенной сзади, открыл ее, вдвинул туда мешок сачка, тряхнув, вывалил собаку, а в клетке сразу же заметались и завывали другие собаки.

Собаколов вытащил свой сачок и прихлопнул дверцу. Он прислонил сачок к своей колымаге, просунул дужку замка, висевшую на дверном кольце, во второе кольцо, крутанул торчащий из замка ключ, подергал замок и, убедившись, что он заперт, бросил ключ в карман. Слово возбужденный удачливой охотой, подрагивая крупным телом, он обошел колымагу, взгромоздился на передок и погнал свою клячу.

А Чик молча глядел вслед. Мешковина сачка колыхалась над колымагой, как грязное знамя грязного дела. Чик всегда ненавидел собаколова, но теперь он понял, что пришел его час. Теперь или никогда! Надо во что бы то ни стало освободить собак, а там будь что

подвиг чика



будет! Сколько можно мечтать о подвиге и ничего не делать?! Так может и вся жизнь пройти!

Весь этот день Чик был рассеян и как бы сам не свой. Он вяло поиграл в футбол во дворе грузинской школы. Команда Чика проигрывала, но его это почему-то не трогало. Во время игры он оказался один на один с вратарем противника и вдруг, сам не зная почему, послал мяч ему прямо в руки.

Потом в том же школьном дворе он вяло поиграл с Анести в деньги. Они играли возле кучи наваленных дров, и вдруг пятнадцатикопеечная монета Чика вкатилась туда. Чик откатил ее достать, сказав при этом фразу, которая дерзостной роскошью на долгие годы запомнилась ребятам:

— Охота была из-за пятнадцати копеек в дровах ковыряться!

Потом он проиграл Анести тридцать копеек и вдруг, махнув рукой, сам перестал играть, хотя деньги еще были и он мог отыгаться.

— Что случилось, Чик?— удивился Анести.

— Настроение кехо (нету),— ответил Чик на полугреческом.

Он чувствовал, что в голове его тихо звенит, а в груди что-то теплеет, теплеет. Он не понимал, что это вдохновение. Давний замысел наказать собаколова и отпустить на волю пойманных собак подступил и требовал немедленного воплощения. И от этого позванивало в голове и что-то теплело в груди. Он думал.

Перед глазами Чика то и дело всплывала дверца колымаги— железная сетка на деревянной раме. На раме большой замок. Как его открыть незаметно для живодера? Да еще на ходу?!

Достать связку ключей и наугад пробовать их? Вдруг какой-то подойдет? Нет, на ходу невозможно открыть замок, даже если бы удалось найти подходящий ключ!

Эх, если бы железным молотком так садануть по замку, чтобы он разлетелся! Но Чик знал, нету у него в руках такой силы, пока нету!

А что, если использовать одну из бабушкиных палок? У бабушки было несколько палок. Одна из них была очень крепкая. Из какого-то горного дерева. Если ее сунуть в дужку замка и концом палки сбоку опереться в заднюю стенку, а другой конец изо всех сил потянуть от себя, получится мощный рычаг, и замок отлетит. Но Чик вдумался в этот план и отбросил его. На ходу использовать рычаг невозможно. Точка опоры все время будет уходить вперед.

Наконец он вот что придумал. Надо достать длинную веревку, привязать к ее концу крепкий железный крюк, а на другом конце сделать петлю. Когда колымага собаколова будет проезжать по такой улице, где есть штакетник, надо подбежать к нему, закинуть за планку петлю, догнать колымагу и сунуть крюк в дужку замка.

Собаколов будет продолжать ехать, веревка натянется, и замок сорвется. Конечно, если замок на кольцах держится очень крепко, веревка может лопнуть. Но Чик заметил, что дверца у собаколова была довольно ветхая. Одно из колец, на которых держался замок, должно было выскочить. А то и оба сразу!

Чик внимательно оглядел все бельевые веревки, висящие во дворе, чтобы ночью срезать наиболее подходящую. Но все веревки оказались слишком старые, измочаленные дождями и мокрым бельем. Тогда Чик в голову пришла такая мысль. Надо срезать одну из этих никудышных веревок, тогда хозяева купят и протянут новую. И тут Чик срежет новую веревку, а старую снова привесит.

Выбор Чика пал на веревку Богатого Портного. Уж кому-кому, а ему купить новую веревку— раз плюнуть. Но ведь прежде чем идти на операцию по освобождению собак, Чик должен как следует потренироваться с веревкой. Тренироваться можно только в глубине сада. Больше нигде. Но здесь, конечно, кто-нибудь мог увидеть его, узнать новую веревку Богатого Портного и рассказать ему об этом. Как быть? Очень просто! Надо перекрасить эту веревку, высушить, а потом начать тренировку.

У тетушки в уборной на втором этаже стояло ведро с красной краской. Однажды, когда бабушка была в деревне, Чик вынес ведро на лестничную площадку и, окуная в

него старую сапожную щетку, вывел на стене дома большую красивую надпись «Рот Фронт».

Это был знак братства с испанскими республиканцами. Но через месяц из деревни приехала бабушка, разгневалась на эту надпись и велела сумасшедшему дядюшке Чика стереть ее керосиновой тряпкой. Нет, она не испытывала никаких тайных симпатий к генералу Франко. Чик такую глупость даже в голову не приходила. Просто бабушка была неграмотной деревенской старухой и не имела понятия ни об испанцах, ни о гражданской войне в Испании. Дядюшка Чика тем более.

Дядюшка усердно стирал керосиновой тряпкой надпись Чика, а бабушка с верхней лестничной площадки властно показывала ему концом палки, какие места надо еще дотереть. Чик стоял и смотрел, как исчезают волнующие его слова.

— Бумага, бумага, бумага,— залопотал вдруг дядя и весело обернулся на Чика.

Он бросил тряпку, сжал в пальцах невидимую ручку, окунул ее в невидимую чернильницу и стал писать по воздуху на невидимой бумаге. Потом он громко рассмеялся и кивнул на стену, показывая, что Чик окончательно спятил и вместо того, чтобы писать на бумаге, измазал краской дом. Дядя вообще любил уличать многих людей в сумасшествии. Особенно он любил уличать в этом Чика.

Да, было дело. Но на этот раз Чик надеялся использовать краску более успешно. Поздно ночью он с ножом в руке выскользнул из дому. Двор был пуст. Возле каморки Алихана стояла скамеечка, сидя на которой тот обычно парил ноги в горячей воде. Чик взял эту скамеечку и, становясь на нее, срезал веревку Богатого Портного с обоих концов. Он сматал ее, отнес в сад и забросил в самом дальнем углу за кусты крапивы.

На следующий день, возвратясь из школы, Чик вошел во двор и увидел, что вся семья Богатого Портного столпилась возле того места, где раньше был прикреплен ближайший конец их веревки. Сам Богатый Портной натягивал новую. Все идет, как надо, подумал Чик, но приблизившись, разглядел, что Богатый Портной натягивает не новую веревку, а новый провод. Сейчас он плоскогубцами накручивал конец провода на гвоздь. Накрутив, покачул тугой провод и сказал:

— До коммунизма хватит, да? А там будем посмотреть...

С новой веревкой Богатого Портного сорвалось, и Чик стал подумывать, не обойти ли ночью соседние дворы. И вдруг вспомнил! Когда у тетушки была корова, они ее пасли на длинной, крепкой веревке. Потом корову снова угнали в деревню, а моток веревки бабушка держала под своей кроватью.

Ночью Чик тихо вытащил этот моток из-под кровати спящей бабушки, отнес его в сад и забросил за те же кусты крапивы. После этого он вытащил оттуда веревку Богатого Портного и навеки спустил ее в уборную! Будет знать, как проводом заменять бельевую веревку!

Дома Чик нашел в ящике с инструментами вполне подходящий для его замысла крюк и старый замок. Он принес их в сад. Крюк положил у подножия айвы, а замок подвесил к одному из ее сучков приблизительно на такой же высоте, на какой висел замок собаколова. Айва отстояла от забора, отделяющего сад от речушки, примерно метрах в двадцати. В промежутке между айвой, на которой висел замок, и забором, куда надо было закидывать петлю, Чик и собирался тренироваться.

После этого Чик поднялся наверх, взял корзину для собирания фруктов, незаметно вложил в нее ведро с краской и прошел в сад. Только он вынул из корзины ведро, как в сад пришел его сумасшедший дядюшка. Обычно сюда, в глубину сада, он никогда не заходил. Только поздней осенью заходил, когда поспевала дикая хурма, растущая тут. Но, оказываясь, он заметил, что Чик стащил ведро с краской.

— Нельзя, нельзя,— сказал он строго, показывая на ведро, а потом на стены домов, между которыми был зажат сад,— милиция, милиция!

Чик долго ему объяснял, что не собирается красить стены домов, но дядюшка ему не верил, неожиданно для Чика проявляя общественную жилку и защищая стены чужих домов.

И вдруг Чика осенило. Он схватил ведро с краской и подошел к забору, отделяющему сад от речушки.

— Забор! Забор! Забор!— стал вдалбливать ему Чик. И до дяди дошло. Хотя забор, отделяющий сад от речушки, отродясь никогда не красили, дядя знал, что вообще-то заборы принято красить. Он радостно улыбнулся и поощрительно замахал руками и головой, показывая, что полностью одобряет затею Чика. Дядя ушел, напевая песню, и можно было надеяться, что дома он не будет подымать шума, тем более что, выходя из сада, он на радостях прильнул к одной из дырочек в фанерной стене кухонной пристройки, где обычно возилась его безответно любимая тетя Фаина, мать Соньки. Прильнув, замер надолго.

Чик вынул веревку из-за кустов крапивы и стал думать, как начать ее красить. Он понял, что если красить ее, растянув на земле, то и веревка испачкается, и земля будет в краске. Чик решил поднять веревку на дикую хурму, перекинуть ее через ветку, так, чтобы она обоими концами доходила до земли. Потом слезть с дерева, связать эти концы и, окуная веревку в ведро, перетягивать ее через ветку, пока она вся не окрасится. А потом оставить ее так, пока она не высохнет.

Чик заткнул веревку за пояс и стал подыматься на хурму по виноградной лозе. Он дополз до первой ветки хурмы и стал перебираться с ветки на ветку, пока не достиг такой высоты, откуда оба конца могли достать до земли. Тут он вынул веревку из-за пояса, перевесил через ветку и стал опускать вниз, пока оба конца не коснулись земли. После этого он слез с дерева и связал оба конца. Окунав нижнюю часть веревки в ведро с краской, Чик стал двигать веревку так, чтобы окрасившаяся часть шла наверх, и при этом стараясь так стоять, чтобы краска не капала ему на голову.

Закончив работу, Чик спустился к речушке и тщательно с песком отмыл руки. Потом он выглянул во двор и, заметив, что ни бабушки, ни тетушки не видно, вложил ведро в корзину, поднялся наверх и поставил его на место. Хотя сумасшедший дядюшка Чика, напевая свои самодельные песенки, стоял на верхней лестничной площадке, Чик спокойно прошел мимо него, не боясь, что он пойдет проверять забор. Сумасшедшие чем хороши? Они думают прерывисто. Раз уж Чик его успокоил относительно предназначения ведерка с краской, он тут же выкинул все это из головы. Правда, через полгода он мог вспомнить и потребовать Чика к ответу за непокрашенный забор, но тогда это будет не страшно.

Через два дня веревка была уже почти сухой, и Чик собирался ее снять, когда случилось неожиданное. Белочка загнала на хурму тетушкину кошку Ананати. Ананати была злопамятной и гордой кошкой. Если уж Белочка загоняла ее на дерево, она могла несколько дней просидеть там без еды и питья. Тетушка из-за этого сильно страдала.

Согнать Ананати с дерева было ужасно трудно. Чик был уверен, что в ее жилах течет кровь диких кошек. На деревьях она преобразалась, и если Чик влезал за ней и пытался ее поймать, она прыгала с ветки на ветку и устраивалась на такой верхотуре, что это было опасно для ее жизни. Рукой ее нельзя было достать. На дереве она не давалась никому.

Еще хорошо, что Чик придумал кормить ее с конца палки, которой сбивали груши. Кусок мяса или рыбы подвязать к концу палки и тихо-тихо подвести к месту, где она сидит. Глядишь, посидит, посидит, а потом соизволит съест поданную еду.

Был только один способ насильно вернуть ее на землю. Это можно было сделать, если она устраивалась где-нибудь на кончике боковой ветки. Тетушка выносила простыню, и ее вчетвером держали под этой веткой, а Чик в это время поддевал ветку палкой для сбивания груш и сильно тряс ее, пока кошка не срывалась с ветки и не рушилась на простыню. Но это возможно было, если она устраивалась на боковой ветке, а не на вершине дерева. Тут приходилось ждать, пока ей самой заблагорассудится слезть с дерева.

И вот Чик приходит из школы, тетушка на весь двор и окрестные дома зовет свою кош-





Б. Иогансон. 1893—1973. НА СТАРОМ УРАЛЬСКОМ ЗАВОДЕ. 1937.

Государственная Третьяковская галерея.

ку, а она в это время сидит на хурме, как раз на той ветке, через которую была перекинута веревка Чика. Не успел Чик обдумать, как быть с кошкой, когда тетушка с верхней лестничной площадки заметила ее.

— Ананати! Ананати! — закричала она радостно и прибежала в сад. — Чик, почему ты мне не сказал, что она здесь? — крикнула тетушка, подбегая к Чику.

— Да я сам ее только заметил, — сказал Чик, стараясь подготовиться к ответу, когда она спросит про веревку.

— А это что за веревка? — спросила тетушка, осторожно тронув веревку. — Чик, ты украл веревку Богатого Портного и перекрасил ее? Ты опозорил нашу семью, Чик!

— Клянусь дядей Ризой, — сказал Чик, — это не его веревка!

Дядя Риза был братом тетушки и самым любимым дядей Чика. Тетушке не понравилось, что Чик из-за какой-то веревки клянется именем ее брата.

— Да начала я на веревку Богатого Портного, — неожиданно повернула она, — хоть бы ты у него и спер ее!

— Нет, нет, — сказал Чик, — эту веревку мне в школе выдали. Мы готовимся к игре «Граница на замке». Вон замок, видишь! — Он кивнул на айву.

Но тетушка уже потеряла всякий интерес к веревке.

— Чик, а как быть с Ананати? — взмолилась тетушка. — Она второй день ничего не ест. Может, ты ее поймашь и спустишь с хурмы?

— Ты же знаешь, что она вскарабкается на самую макушку, если я полезю за ней, — напомнил Чик. — Давай накормим ее по моей веревке.

— Как это? — спросила тетушка.

— Очень просто, — сказал Чик. — Ты видишь, она сидит возле самой веревки. Ты принеси из дому что-нибудь, мы прикрепим к веревке, а я по веревке подыму ей.

Тетушка принесла из дому великолепную котлету и большую булавку. Чик был сам с удовольствием съел эту котлету. Он осторожно приткнул котлету булавкой к веревке и стал тихо перетягивать веревку. Котлета пошла вверх. Кошка, сидя на ветке, безучастно следила за ними. Чик подвел котлету к самой ветке и замер. Кошка неподвижно сидела в двух шагах от нее.

— Ананати моя милая, Ананати моя хорошая, — взбадривала ее снизу тетушка.

Кошка с минуту безучастно смотрела вниз, а потом вдруг заинтересовалась котлетой и осторожно по ветке подошла к ней. Понюхала и стала есть. Тетушка тихо ликовала. Ананати съела всю котлету, причем так умело, что ни один кусочек не упал вниз. После этого она облизнула булавку, ожила, умылась и вдруг вместо того, чтобы занять прежнее место, пошла по ветке до самого ее покачивающегося кончика. Видно, она решила промять ноги. Это с ее стороны было большой ошибкой.

— Скорее простыню, — тихо приказал Чик. — Мы ее сейчас страхнем!

Тетушка побежала за простыней. Вскоре она вернулась. За нею двигались дядя Коля, тетя Фаина и Сонька. Она их прихватила по дороге.

Они вчетвером держали простыню. Все смотрели вверх на кошку, и только дядя Коля с обожанием смотрел на тетю Фаину.

— Внимание, — сказал Чик.

Веревка была перекинута у самого ствола, и Чик стал передвигать ее поближе к концу ветки, чтобы как можно крепче тряхнуть ее. Кошка покачивалась на конце ветки, пока еще ничего не подозревая, и бесстрашно смотрела вниз.

— Если будет падать немного в сторону, сразу сдвиньте простыню, — сказал Чик. — Начинаю.

Чик изо всех сил дернул веревку. Ветка сильно покачнулась, но Ананати удержалась на ней. Чик, не давая ей опомниться, стал изо всех сил дергать за веревку. Ветка шумно сотрясалась, когда извивалась на ней, стараясь сохранить равновесие. Чик не давал ей опомниться, чтобы она не вспрыгнула на другую ветку. Вдруг она сорвалась и несколько секунд висела на передних лапах. Чик дернул изо всех сил за веревку, и кошка, мяукнув дурным голосом, полетела вниз. Она тяжело шлепнулась на простыню, а тетушка ее тут же подхватила на руки. Поглаживая ее одной

рукой и говоря ей ласковые слова, тетушка пошла домой. Дядюшка следовал за ней, брезгливо отстранив от себя развешивающуюся простыню. Дядя считал кошек и собак грязными тварями и близко их к себе не подпускал.

— Чик, что это у тебя за веревка? — спросила Сонька.

— Скоро все узнаешь, — сказал Чик важно, — а пока держи язык за зубами.

Все ушли из сада. Чик развязал концы веревки и стянул ее с ветки. Он накрепко тройным узлом привязал к одному концу крюк, а на другом сделал петлю.

Он так живо представлял себе все, что должно случиться. Вот едет колымага. Чик накидывает петлю на планки ближайшего штакетника, догоняет ее и всовывает крюк в дужку замка. Раздается хруст вырванного замка, дверь распаивается, и собаки выскакивают на волю.

От ветхого забора до айвы было метров двадцать. На такое расстояние Чик и рассчитывал. Чик накидывал петлю на планки забора и изо всех сил бежал к айве, где на сучке висел замок. Он быстро и точно всовывал крюк в дужку замка.

Вся операция длилась пять-шесть секунд. Набросив петлю на планки забора, Чик ухватывался за крюк и, бросив остальной моток веревки на землю, бежал к айве.

Веревка иногда путалась в зарослях сада, и Чик решил, что, пожалуй, это рискованно. Она и на улице может за что-нибудь зацепиться. После многих пробегов от забора до айвы Чик убедился, что моток веревки лучше всего закинуть на левую руку и чуть приподнять ее, чтобы он не выпал на ходу, а свободно разматывался.

Каждый раз, пробегая с веревкой, Чик ясно представлял, как это все будет происходить на самом деле. Вскоре он догадался о своей ошибке. Нельзя сначала забрасывать петлю на штакетник, а потом догонять колымагу. Так можно промахнуться, не рассчитав скорость ее передвижения и возможные последствия, которые неожиданно могут возникнуть на пути.

Надо наоборот! Сначала вдеть крюк в дужку замка на двери, а потом бежать к забору. Всякий забор бывает довольно длинным. Замок, можно сказать, точка, а забор — линия. Надо сначала закрепиться в точке, а потом выбирать на линии наиболее удобное место.

Теперь Чик, продев крюк в дужку замка и приподняв левую руку с мотком веревки, бежал к забору. Все получалось хорошо. Но тут перед глазами Чика всплыла возможность еще одной ошибки. Если, пока он бежит к забору, веревка будет провисать, крюк, вдетый в дужку замка, может соскочить от тряски колымаги на неровностях улицы. Моток надо держать продетым в левую руку, но правой рукой надо веревку пропускать сквозь ладонь так, чтобы она все время была достаточно натянута. Тогда крюк не соскочит.

Чик теперь бежал, пропуская веревку сквозь ладонь правой руки. Теперь он чувствовал, что она все время достаточно натянута.

Чик все время бежал прямо от айвы к забору, но вдруг понял, что это неправильно. Надо забирать немного вправо или влево.

Вдев крюк в дужку замка, надо бежать наискосок по ходу колымаги. Потому что, если бежать прямо, а колымага будет двигаться очень быстро, веревки может не хватить и он не дотянется до штакетника. Надо бежать наискосок, но в то же время помнить, что нельзя обгонять колымагу и высовываться, потому что собаколов может его заметить и догадаться обо всем.

Чик все, что мог, предусмотрел. Он так долго тренировался, что у него на левой руке возле локтя, где разматывалась веревка, кожа покраснела и саднила, но Чик терпел. Ему даже было приятно. Свобода даром никому не достается! Завтра, завтра все решится! Он забросил веревку в заросли крапивы и пошел домой.

Утром, выйдя из дому с портфелем в руке, Чик незаметно юркнул в сад. Он осторожно вынул из зарослей крапивы свою веревку и поставил туда портфель. Он тщательно, как парашютные стропы (так казалось Чику), кольцами свил веревку, просунул в нее голову, а потом руку. Теперь веревка висела у него на плече, как солдатская скатка.

И тут только он заметил, что за ним увязалась его собака Белочка. Она видела, как Чик сунул портфель в кусты крапивы, и сейчас бдительно следила за Чиком, ожидая приказа «Ищи!».

Чик не на шутку забеспокоился. Вдруг, когда он уйдет, Белочка вытащит его портфель из кустов крапивы и принесет домой? Скандал! Вообще-то он никогда не заставлял ее искать портфель. Но носить портфель иногда давал. Когда Чик возвращался из школы, Белочка чаще всего у калитки дожидалась его. Издали, узнав Чика по голосу, она радостно бежала ему навстречу. И тогда Чик для смеха иногда давал ей в зубы свой портфель. И Белочка, подволакивая его на ходу, несла портфель до калитки. Нет, она не нарочно подволакивала его по пыльной дороге. Просто она была небольшой собакой.

Вообще-то Белочка так и не примирилась за несколько лет с тем, что Чик тратит время на школу. Чик это точно знал. Объяснить ей, что Чик обязан ходить в школу, было никак невозможно. Но сейчас Чик забеспокоился: а вдруг она ненавидела его портфель и только скрывала до сих пор свою ненависть? А теперь, оставшись с ним один на один, вынесет его из крапивы и разорвет его вместе с книгами и тетрадями. Да если просто приволочет его во двор, тоже нехорошо. Дома догадаются, что он не был в школе.

Надо ее как следует отвлечь, чтобы она о портфеле совсем забыла. Чик подошел к груше и сбил палкой самую великолепную грушу, до которой только мог дотянуться. Груша была до того соблазнительной, что Чик сам ее разок откусил и, держа ее в вытянутой руке, сказал:

— Возьми!

Белка радостно прыгнула, но Чик приподнял руку.

— Белка, возьми!

Белка снова прыгнула, но Чик отдернул руку, и она не достала. Нет, он не мучил ее этим. Белочка сама знала, что это игра. Она весело подпрыгивала. Раз уж Чик сказал «возьми», он обязательно даст ей ухватить грушу. Белочка продолжала прыгать. В мире нет умнее и чистоплотней собаки. Под грушей лежат довольно съедобные паданцы, но она их ни за что не тронет. Ей подавай свежие, прямо с ветки!

Вовсю расшухарив Белку, Чик наконец дал ей возможность цапнуть грушу и съесть. Все это он проделал для того, чтобы Белочка на чисто забыла о спрятанном портфеле.

Белочка съела грушу и, приподняв морду на дерево, трянула головой, предложив Чику еще поиграть с грушей или виноградом, лоза которого вилась вокруг груши.

— Хватит, Белка, — сказал Чик и, сделав свирепое лицо, крикнул: — Пошла домой!

Белочка вздрогнула, внимательно взглянула на Чика, мотнула головой, как бы сказав: «Не верю в твою свирепость!» — и завильала хвостом.

Тогда Чик решил отделаться от Белки более точным приемом.

— Белочка, купаться, — сказал Чик ласковым голосом.

Белочка терпеть не могла купаться. Видимо, воспоминания о мыле, которым ее мылила тетушка во время купания, были для нее самыми горькими и отвратительными. Она сразу поскучилась, и хвост у нее опустился.

— Купаться, купаться, — сказал Чик с фальшивой ласковостью, и Белочка, повернувшись, побежала во двор прятаться. Чик был уверен, что, если Белочке посреди пустыни Сахары сказать «купаться!», она тут же бы зарылась в какой-нибудь бархан. В таких случаях она теряла свою сообразительность и даже не замечала бы, что поблизости нет ни лохани, ни оазиса.

— Для тебя же стараюсь, — вздохнул Чик вслед убежавшей Белке и, перейдя сад, нырнул в пролом забора. Теперь Чик надеялся, что из головы Белочки выветрилась память об оставленном в кустах крапивы портфеле. Чик прошел по руслу речушки, проскочил под мостом и вылез на улицу.

Он чувствовал во всем теле легкость веселящего волнения. На углу перед самой школой, где Чик собирался свернуть в сторону моря, он догнал Бочо.

— Чик, что это у тебя за красная веревка? — удивился Бочо.

Чик решил, что теперь уже можно все рассказать. Тайна не успеет дойти до ушей собаколова. Он ему все выложил, и Бочо загорелся помогать.

— Я буду искать отсюда до моря, — сказал Чик, — а ты ищи отсюда до Ботанического сада. Встретимся здесь.

— А это куда? — Бочо мотнул в руке портфель.

— Портфель тебе не мешает, — объяснил ему Чик, — дверь открывать буду я. Ты ищи собаколова и спрашивай у пацанов, кто его видел.

— Ох, Чик, — покачал головой Бочо, — излупцует же он тебя кнутом, если догонит.

— Знаю, — сказал Чик, — но сперва пусть догонит.

Чик пошел в сторону моря. Встречные иногда удивленно поглядывали на моток красной веревки на груди Чика и даже выказывали желание остановиться и поговорить по этому поводу, но Чик сурово проходил мимо. Каждый раз, проходя мимо ограды из штакетника, Чик думал: здесь можно было бы. Иногда попадались штакетники с такими милыми, крепенькими планками, что просто хотелось их расцеловать. Дойдя до угла квартала, Чик внимательно смотрел в обе стороны, пытаясь вдалеке различить знакомую колымагу. Но пока ее нигде не было видно.

— Чик, это водолазная веревка? — крикнул ему знакомый пацан и подбежал к нему. — Откуда она у тебя?

— От водолаза, — сказал Чик. — Собаколова не видел?

— Нет, — ответил пацан, — а зачем он тебе?

— Так, дело есть, — сказал Чик и прошел.

Чик встретил еще нескольких знакомых пацанов, и все они удивлялись его веревке, но собаколова никто не видел. Внимательно оглядая на перекрестках поперечные улицы, Чик дошел до самого приморского пустыря, где бывали бродячие собаки и куда собаколов часто заглядывал. Но сейчас здесь никого не было.

Чик вышел на параллельную улицу и пошел назад, оглядывая на перекрестках поперечные улицы и мимоходом любясь попадающимися на пути штакетниками. Он дошел до своей улицы, прошел мимо школы и остановился на перекрестке, где они условились встретиться с Бочо.

Бочо еще не подошел, и Чик стал ждать. Прозвучал звонок на перемену, и Чик повернулся спиной к школе, чтобы его никто издалека не узнал. Потом раздался звонок на урок. Было слышно, как ребята с веселым шумом устремились в классы. Потом все затихло. Бочо все не было.

И вдруг он появился вдалеке. Он бежал по улице Чика, то и дело взмахивая портфелем. Чик понял, что Бочо бежит с какой-то новостью.

— Чик, — задыхаясь, крикнул Бочо, подбегая, — он едет по вашей улице! Он сейчас возле спортплощадки остановился. Там собака! С ним рядом сидит второй человек!

Чик раздумывал несколько секунд. Надо его встретить на том углу квартала. Там начинается длинный штакетник забора грузинской школы. Это даст возможность маневрировать.

— За мной! — крикнул Чик, и они побежали. Когда они добежали до угла, из-за поворота улицы, покачиваясь на неровностях немоощной дороги, показалась колымага. Собаколов поспевал кнутом свою колымагу, жадно озирая улицу в поисках зазевавшейся собаки. Рядом с ним сидел какой-то рыжий человек. Наверное, он учился ловить собак. Между ними на длинном древке вяло колымагался сачок, как грязное знамя грязного дела.

Чик отвернулся к забору, чтобы не вызывать никаких подозрений. Колымага, поскрипывая, приближалась. Медленно, медленно приближалась! Вот она поравнялась с ним, Чик это почувствовал и быстро обернулся.

Дав ей проехать чуть дальше себя, Чик скинул с плеча моток веревки, продел его в левую руку, правой ухватился за конец с крюком и ринулся за колымагой.

Он быстро догнал ее, зацепил крюк за дужку замка и побежал к штакетнику, не давая ослабнуть разматывающейся веревке. Закинул петлю за две планки штакетника, сдернул ее пониже и обернулся.

Через секунду веревка натянулась, и Чик, холодея от ужаса, увидел, что замок не оторвался, а колымага просто остановилась. Все пропало!

Но нет! Собаколов ничего не понял и пару раз сильно стегнул свою клячу. Она рванулась, одно из колец соскочило, и дверь с треском распахнулась. Но собаки почему-то не выскакивали. А собаколов и сейчас ничего не понял! Он встал с места и, громко ругаясь, стал изо всех сил нахлестывать свою клячу. Она опять рванулась, крюк на конце веревки все еще торчал в дужке замка, веревка снова натянулась, дверь с ужасающим скрежетом вырвало из петель, и она с грохотом повалилась на улицу!

О, вырванный с корнем гнилой зуб злодейства! Собаки радостным потоком стали выпрыгивать из колымаги — белые, черные, желтые, пятнистые, серые.

— Чик, атанда! — откуда-то издали раздался голос Бочо, и Чик очнулся.

Собаколов уже прыгнул с передка и бежал к дверце колымаги. И тут Чика захлестнул страх. До этого страха не было, а тут захлестнул. Чик рванулся и побежал навстречу собаколову, но в сторону дома. Краем глаза он успел заметить, что Бочо перекинул портфель во двор грузинской школы и сам перемахнул через забор. Он успел удивиться, что Бочо принял более умное решение, но менять свое было уже поздно. Увидев бегущего Чика, собаколов ринулся к тротуару.

Чик прорвался мимо свистнувшего у его ног кнута и побежал дальше. Собаколов за ним. Чик обогнал несколько освобожденных им собак, и вдруг одна из них с лаем бросилась за ним и вцепилась в штаны. Прокусить штаны она не смогла, но пока Чик отцеплялся от нее, собаколов догнал его своим кнутом. Струей кипятка кнут плеснул по ногам. Чик подпрыгнул от боли и сразу же оторвался от собаки и собаколова. Тот продолжал бежать за ним, но Чик чувствовал, что теперь он уже его не достанет, именно потому, что успел ошпарить кнутом. «Оказывается, человек, как и лошадь, может от удара кнута увеличивать скорость», — подумал Чик на бегу. До кнута ему казалось, что он бежит на предельной скорости, но после кнута он явно поднажал.

— Молодец, Чик, молодец! — доносились голоса уличных соседей.

Чик вбежал во двор, пробежал его, ворвался в сад и вскарабкался на спасительную грушу. По бешеному лаю Белки Чик догадался, что собаколов уже во дворе.

Чик докарабкался до макушки груши и стал следить за двором. Отсюда весь двор был как на ладони. Собаколов, отбиваясь кнутом от Белки, атакующей его со всех сторон, прошел до самой лестницы, ведущей на второй этаж, где жила тетушка.

— Где этот мальчик?! Где этот хулиган?! — орал он, поглядывая на соседей и стараясь угадать, кто прячет Чика. Он не знал, что Чик пробежал в сад.

Тетушка появилась на верхней лестничной площадке и, стоя над горшками цветущей герани, смотрела вниз, пытаясь понять, что происходит.

— Оставь собаку, — кричала она. — Что тебе надо?

— Где этот хулиган? — кричал собаколов. — Я его сдам в милицию!

Тут во двор вошло несколько соседей по улице, и один из них крикнул тетушке:

— Чик открыл дверь его ящика! Все собаки сбежали!

— Я его в колонию отправлю, — кричал собаколов. — У меня свидетели!

Тут двор поднял возмущенный гвалт.

— В колонию?! — вскрикнула тетушка. — Да я тебе сейчас за это глаза выцарапаю, живо дер несчастный!

Она огляделась как бы в поисках предмета, при помощи которого можно было бы выцарапать глаза собаколову, и увидела, что за ее спиной стоят дядя Коля и бабушка. Они вышли из дому, привлеченные шумом. Тетушка решила не искать больше предмет, при помощи которого можно было выцарапать глаза собаколову, а заменить его сумасшедшим дядюшкой Чика.

— Коля, гони его со двора, — крикнула тетушка и, поясняя свою мысль на понятном ему языке, добавила: — Он плохой! Плохой!

— Плохой?! — переспросил дядя Коля и свесился с перил, стараясь разглядеть, насколько плох собаколов.

— Плохой! — крикнула тетушка. — Гони его отсюда!

— Сумасшедший? — переспросил дядюшка. — Кричит?!

Вообще-то он не любил связываться с чужими и сейчас пытался сам себя разгорячить.

— Да, сумасшедший! Да, кричит! — крикнула тетушка и показала на себя. — На меня кричит!

Дядюшка сделал решительное движение, чтобы побежать вниз, но бабушка властно придержала его за рубашку и даже дала ему легкий подзатыльник, чтобы он в мирские дела не вмешивался. Она не любила, когда ее сына пытались так использовать.

— Он мне план поломал! — кричал собаколов, то отмахиваясь кнутом от Белочки, то грозя этим кнутом тетушке. — Ты его от меня не спрячешь! Я его в колонию сгною!

Вдруг тетушка быстро нагнулась, схватила самый большой горшок с геранью и с криком «Вот тебе колония!» швырнула его в собаколова.

Такого он явно не ожидал. Горшок с цветущей геранью, пропламенев в воздухе, полетел вниз. Собаколов успел отпрыгнуть, и горшок, глухо выстрелив, разбился у его ног. Черепки разлетелись, а герань с большим комом земли вокруг корней каким-то чудом стала торчком, продолжая цвести как ни в чем не бывало. Чик подумал, что она вполне приживется, если ее пересадить в другой горшок.

Белочка продолжала захлебываться лаем. Собаколов и тетушка переругивались. Жители соседнего двухэтажного дома на шум выглядывали из окон, но не могли понять, что происходит внизу. Флигель, в котором жила Ника, скрывал от них собаколова.

Наконец одна из соседок поймала глазами Соньку, стоявшую в углу двора, и крикнула: — Сонька, что там случилось?

— Чик освободил собак, — радостно крикнула Сонька, — собачник его ищет!

Но тут Сонькина мама выскочила из своей кухни и, подбегая к Соньке, стала загонять ее домой, крича:

— Мы ничего не знаем! Мы ничего не видели!

Она всегда всего боялась и сейчас не знала, чем все это кончится.

— Чик освободил собак! — еще раз бесстрашно крикнула Сонька, пока мать тащила ее в дом.

Тут во двор вошел помощник собаколова с веревкой в руках. Богатый Портной, до этого безучастно наблюдавший за происходящим, вдруг ожил. Он подошел к этому человеку, взял у него из рук веревку и стал с любопытством приглядываться к ней. Потом он стал ее мерить, разворачивая руки, как продавцы тканей. Веревка была явно длиннее, чем он предполагал, и Богатый Портной, пощупав крюк, вернул ее помощнику собаколова.

— Такой крюк пароход может остановить! — сказал Богатый Портной, возвращая веревку. Он нарочно сделал вид, что его больше всего поразило этот крюк, чтобы никто не подумал, что он интересовался самой веревкой.

— Я это сейчас в милицию отвезу! — крикнул собаколов, кивнув на веревку. — В колонию пойдет твой сын, в колонию!

Тетушка схватила самый маленький горшочек с геранью и швырнула в собаколова. Из этого Чик понял, что она начала успокаиваться. Этот горшочек вдвездрился разбился у ног собаколова, а герань сломалась.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время во двор не вошел дядя Риза, любимый дядя Чика. Все женщины двора при виде его, как всенда, замолкли и стали прихорашиваться. Маленький, красивый, всегда хорошо одетый, он подошел к собаколову и стал тихо с ним говорить.

— Не слушай его, — крикнула сверху тетушка, — он живодер!

Дядя еще некоторое время поговорил с собаколовом, а потом вынул из пиджака бумажник, достал оттуда красненькую тридцатку и дал ему. Тот, взяв деньги, как-то легко успокоился и пошел со двора вместе со своим товарищем, который все еще держал в руке моток веревки.

Белочка с лаем сопровождала их до калитки, и собаколов несколько раз нехорошо на

МАЙКА

Охотовед Михаил Лебедев шел по лесу, как всегда, осторожно, цепким взглядом отмечая перемены в природе, особенно заметные весной. Каждый день здесь появлялось что-то новое: птичьи гнезда, цветы, молодые побеги трав... Неделю тому назад Лебедев наткнулся на свежий след лоса. Обрадовался. Давненько эти звери не заходили в здешние леса, окруженные со всех сторон казахской степью. «Может быть, гость пожаловал из Сибири? — гадал он. — Или забрел с Алтая? Зима нынче везде выдалась суровой, вот в поисках лучшей доли и скитаются животные». След привел в густой осинник, и охотовед разглядел наконец зверя. Это оказалась крупная лосиха. Она беспокойно стригла ушами. Михаил понял, что лосиха ждала потомства и густой этот осинник избрала своим родильным домом...

Эх, если бы Лебедев знал, что произойдет, ни за что бы не ушел от ее дома. На следующий день мальчишки принесли из леса маленького, беспомощного лосенка, сказали, что нашли у болота. Лебедев понял: случилось что-то плохое, потому что лосиха так просто свое дитя не оставит.

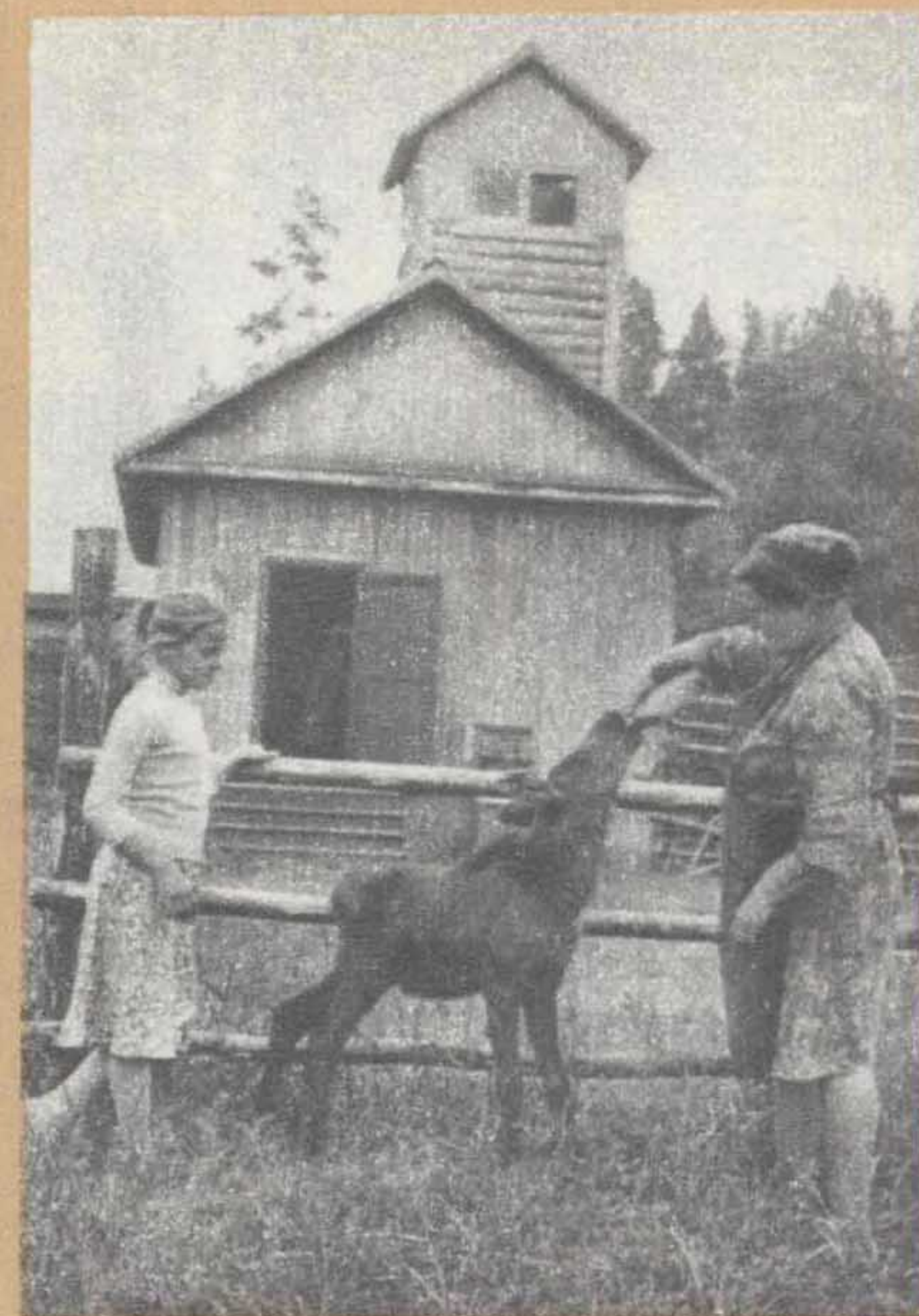
— Может быть, волки? — предположил он, поспешно одеваясь. — Нет, тогда бы и лосенку не жить.

Худшие его опасения оправдались. Заезжие браконьеры ранили лосиху. Она ухнула, пока были силы, и увела их от осинника почти на три километра. Тут они ее и добились. Лосенок тоже бы погиб, если бы не мальчишки...

И Майка (так нарекли малышку, потому что в мае родилась) стала жить среди добрых людей, едва не погибнув от рук злых. И вот что интересно: признает только женщин, а Анастасию Ивановну Балабаеву, работницу лесничества, считает, очевидно, своей матерью. Знает ее голос и откликается на него всюду, бегаёт за ней, молоно из бутылочки только от нее соглашается принимать.

Ю. ЛУШИН,
фото автора

Кокчетавская обл.



нее посмотрел. Но теперь он не взмахивал кнутом, а волочил его по земле.

Чик подумал, что собак в колымаге было штук пятнадцать. Собаколов получил тридцатку. Значит, они оценивают живую собаку в два рубля? А веревка? Интересно, за сколько рублей он ее загонит?

Уличные соседи, переговариваясь, стали выходить со двора. Некоторые из них явно ожидали большего. Дядя им подпортил зрелище. Сейчас он приподнял герань за стебель, легким движением стряхнул ком земли с корней и поднялся наверх.

— А где Чик? — спросил он у тетушки.

Тетушка растерянно огляделась и развела руками. Увлеченная борьбой за Чика, она о самом Чике подзабыла.

— Я здесь, дядя! — крикнул Чик с груши.

Дядя обернулся, поймал Чика любящими, насмешливыми глазами и поманил пальцем. После этого он отдал герань тетушке и вошел в дом. Пока Чик спускался с дерева, сумасшедший дядюшка Чика уже пришел в сад и наполнял свежей землей новый горшок для герани, чудом уцелевший после падения со второго этажа.

Чик поднялся наверх и прошел в залу, где дядя, раздетый и укрытый простыней, лежал на своей кровати. После работы он любил умыться и часок отдохнуть. Его мокрые редкие волосы блестели и были зачесаны на косой пробор. Голые, мускулистые руки были высунуты из-под простыни и держали книгу.

— Поди-ка сюда, — сказал он Чик, показывая на постель и откладывая книгу, на которой Чик успел прочитать: «Ги де Мопассан». Чик присел на постель.

— Рассказывай, — кивнул дядя, сияя на Чика улыбкой, — о подвигах, о доблестях, о славе.

И Чик рассказал ему все. Как он давно ненавидел собаколова, как он своими глазами видел доверчивую собаку, пойманную в его подлый сачок, как он придумал распахнуть его дверь и выпустить всех собак.

— Ты молодец, Чик, — сказал дядя, любясь Чиком, — но и собачника надо понять. У него ужасная работа, но это работа. И ты прав, и он по-своему прав.

— Как так? — удивился Чик.

— Ну, Чик, — сказал дядя, глядя на него своими блестящими глазами, — это как змея и человек. В природе змеи кусаются. В природе человека убивать змею. Так они вместе живут тысячелетия и будут жить. Такова природа, Чик: змея кусает человека, а человеку убивать змею.

— А уж? — сказал Чик, подумав.

Дядя вдруг расхохотался, схватил его голыми руками и, прижав к себе, поцеловал в лоб. Чик не видел ничего смешного в том, что он спросил, но ему приятно было, что дядя хохочет.

— А в природе ужа, — сказал дядя сквозь хохот, — страдать за сходство со змеей!

Чик решил, что они слишком далеко отошли от дела.

— Дядя, — сказал Чик, — он ловит не только бродячих собак. Он ловит любых собак, которые оказались на улице.

— Конечно, конечно, — сказал дядя, — здесь возможны ошибки.

— Не ошибки, — поправил его Чик, — а вредительство. Хозяин собаки все время думает на работе: а вдруг моя собака выбежала на улицу и ее поймал собаколов? И от этого он на работе волнуется и совершает грубые ошибки.

— Чик, — сказал дядя, и глаза его строго подтвердили, — я тебе уже объяснял, что все это ерунда. Ты ведь не раз убеждался в этом. Нет никаких вредителей! Есть разгильдяи, трусы, подлецы... И, наконец, просто дураки!

— Кто же тогда арестовал отца Ники? — спросил Чик и уже сам строго посмотрел на дядю. — Он ведь был твой друг?

Последние слова Чик произнес с невольным упреком. Если дядя не признает, что есть вредители, значит, он признает, что отца Ники правильно арестовали. Но ведь это не так!

— Чик, — сказал дядя, и вдруг в его всегда ясных, умных глазах появилось выражение тоски, — отец Ники был моим другом, и я никогда от него не отрекался. Запомни, никогда! Он был честным человеком! Как бы тебе объяснить? Ты этого сейчас не поймешь...

— Нет, пойму, — твердо перебил его Чик и твердо посмотрел ему в глаза.

— Бывают времена, когда... когда многие люди... живут, как пьяные, — сказал дядя медленно и с трудом подбирая слова, — а ты знаешь, что пьяные бывают безумными и жестокими?

— Да, конечно, — сказал Чик и мгновенно припомнил то, чего, в сущности, никогда не забывал.

Несколько лет назад Чик шел с пацанами на море. Вдруг они увидели перед собой на тротуаре двух пьяных. Один был большой и здоровый, а второй был среднего роста. Тот, что был поменьше, что-то сказал большому. Здоровый обхватил его руками, поднял над землей и бросил. Тот упал и долго не мог встать. Но потом встал, и они пошли дальше. Видно, он опять сказал здоровому что-то неприятное, и здоровый опять приподнял его на руках и бросил на землю. И второй опять растянулся на тротуаре. Он долго не мог встать, а большой, самодовольно ухмыляясь, помог ему встать, и они, пошатываясь, пошли дальше. И видно, тот, что был поменьше, опять что-то неприятное сказал большому, и тот опять его приподнял над землей и бросил, как деревянную куклу.

На этот раз ребята были совсем близко, и Чик услышал, как пьяный, падая, стукнулся затылком о каменный бордюр тротуара. И этот звук, этот стук перевернул всю его душу!

Упавший теперь лежал неподвижно, а здоровый, сопя, пытался его приподнять, а у того обвисли руки, и глаза были закрыты. А этот все сопел над ним, ничего не понимая и пытаясь его поставить на тряпичные теперь ноги. И это было ужасно, что он никак не поймет того, что случилось с его товарищем.

Потом собралась толпа. Большой забрала милиция, а за маленьким приехала «Скорая помощь». Говорили, что он не умер, что он только потерял сознание, но Чик на всю жизнь запомнил этот случай.

И Чик, всегда содрогаясь, вспоминал тот беспомощный стук головы о бордюр тротуара, тот жестокий, нечеловеческий звук равнодушия к человеческой жизни.

— А отчего они как пьяные? — спросил Чик. Он внимательно смотрел дяде в глаза.

Дядя промолчал мгновение и вдруг тихо, словно не Чик, а самому себе, с горечью выдал сквозь зубы:

— Ты вырастешь, Чик, и все поймешь. — И вдруг добавил, как-то странно взглянув Чик в глаза: — И если даже с твоим дядей что-нибудь случится, ты всегда верь, что он был честным человеком...

— Нет, — выдавил Чик, чувствуя, что внутри у него все сжалось. Он обхватил руками его шею. — Нет! Нет! Нет!

— Я тоже так думаю, — сказал дядя, целуя Чика, — кажется, худшее позади... И не надо об этом... Нарви-ка нам лучше винограда к обеду...

Чик стало легче. Внутри отпустило. Он ужасно любил, когда дядя ему говорил: нарви груш, инжира, винограда. Чик в такие минуты чувствовал себя фруктовым кормильцем семьи.

— Дядя, — вдруг вспомнил Чик, — собаколов не отомстит Белочке за то, что я выпустил собак?

Дядя рассмеялся, вскочил с постели и стал быстро одеваться. Он все делал легко, быстро.

— Я думаю, — сказал он, — этот человек больше никогда по нашей улице не проедет. Ты его хорошо проучил.

Когда Чик с корзиной спустился во двор, Сонька выскочила с его портфелем в руке.

— Чик, — сказала она, — ты забыл под грушей свой портфель. Белочка начала грызть, но я у нее отняла его.

Чик за всеми делами этого дня совсем забыл о своем портфеле. Значит, Белочка все-таки о нем не забыла! Ай да Белка!

Чик взял портфель и вошел в сад. Он повесил его на сучок и взобрался на грушу. Когда он влез на вершину, стал рвать спелые гроздья «изабеллы», на лестничной площадке появилась тетушка с ведром и кружкой. Она стала поливать цветы. Самая большая герань была уже водворена в новый горшок. Чик заметил, что тетушка ее особенно усердно поливает, как пострадавшую в схватке с собаколовом. Поливая цветущие красным цветом герани, тетушка громко напевала одну из своих любимых песен:

Белые, бледные, вечно душистые,
Эти цветы расцвели-и-и...



УЧАС



В

**10 НОЯБРЯ —
ДЕНЬ
СОВЕТСКОЙ
МИЛИЦИИ**

ологодщина... Задумчивые леса, плотной стеной стоящие по берегам бесчисленных озер, холмы, плавно выгибающие поля, белокаменные соборы, замершие на островах. Давно мы усвоили истину о том, что люди — главное богатство земли, но убеждаешься в этом всегда как-то по-новому.

...В Кирилловском РОВД об участковом инспекторе Мешалкине мне сказали: «Редкий человек, редкий работник».

Сухощавый, широкий в кости мужчина, седина уже тронула волосы, морщины, избороз-

УЧАСТКОВЫЙ

дившие лицо, свидетельствуют о непростой судьбе майора. «И стреляный, и колотый», — однажды сказал он будничным тоном о себе самом. Давно списал ранения на издержки своей профессии.

Выходец из крестьянской семьи, он в душе остался в общем-то хлеборобом, созидателем. Отсюда мудрое, бережное отношение к людям. Глаза и руки — вот что запомнилось в облике Мешалкина. Огрубевшие, мозолистые ладони. Бумаге и карандашу нелегко в зажатых пальцах, черенок лопаты или топора куда сподручнее. А глаза — чуть выцветшие — смотрят на мир с теплотой и немного устало. Это ведь у равнодушия беззаботный взгляд.

Непросто мне было разговорить Владимира Владимировича. Приценивается к каждому слову. Не торопясь, льется вологодский говор:

— ...Я-то сам не здешний. Из другого райо-

на. Когда меня сюда послали, родные стали подшучивать, мол, в страну Лимонию определили. Талицы давно Лимонией называли. Село крепкое, еще до революции здесь народ всегда с хлебом был.

Прибыл на место службы, а с чего начать — не знаю. Один — на сто без малого населенных пунктов. Кругом бездорожье, если куда выезжать, то на лошадке или пешочком.

Трех месяцев не прошло — у меня ЧП: убили бригадира. Указали мне убийцу — местного жителя, по фамилии Галкин. Преступник после происшествия, как водится, сбежал. Чувствую, присматриваются талицкие ко мне: дескать, не сробеет ли участковый, что делать будет?

От успеха дела, конечно, многое зависело. Боялся ошибиться. Промашку допустить.

Начал с того, что о Галкине всех расспросил. Что он за человек, может ли еще что на-

творить. Оказалось, не вовсе пропащий. Коль захочет, искупит вину. Так и доложил розыскнику, который приехал из района на подмогу.

На свой страх и риск решили мы идти по следам Галкина. Подвернется случай — уговорить на явку с повинной. За две недели с десятком деревенок обошли, через разных людей передавали ему весточки. Сначала не верил он, думал, милиции только схватить бы его. А потом видит: в одном месте не взяли, хотя могли, в другом сам пришел с повинной.

Вернулся я домой и чувствую: переменялось что-то. Другими глазами глядят мужики. Неужто Лимония меня признала?

На собственном опыте испытал, как важно ладить с людьми. Находить общий язык. Без них — механизаторов, полеводов, доярок, бригадиров и звеньевых — сотрудник милиции бессилен.

Участковый не должен думать лишь о службе. На селе прозвали меня в шутку «внештатным председателем». Но есть в том и доля правды. Редкую планерку в правлении пропускаю, знаю планы сельхозработ на ближайшие дни, где и чем самые мои подконтрольные мужички занимаются.

Колхоз-середнячок за двадцать лет в передовые вышел. Нынешний председатель Геннадий Леонтьевич Селезнев — настоящий хозяин, толковый руководитель. Недавно сдали сорок квартир, ничем от городских не отличаются. Технику приобретаем. И на премии для колхозников не скупимся. Правильно делаем? Правильно. Где-то рабочей силы не хватает, а мы укомплектованы. По областному радио объявили: в колхозе «Коминтерн» решил остаться весь десятый класс. Ко-

«Пост сдал!.. Пост принял».

А это не просто территория.

На ней люди живут.

Их покой,

их жизнь отныне будет хранить
новый участковый,

лейтенант Володя Архипов (с п р а в а).

Если бы с должностью ему
и опыт Владимира Владимировича передать...

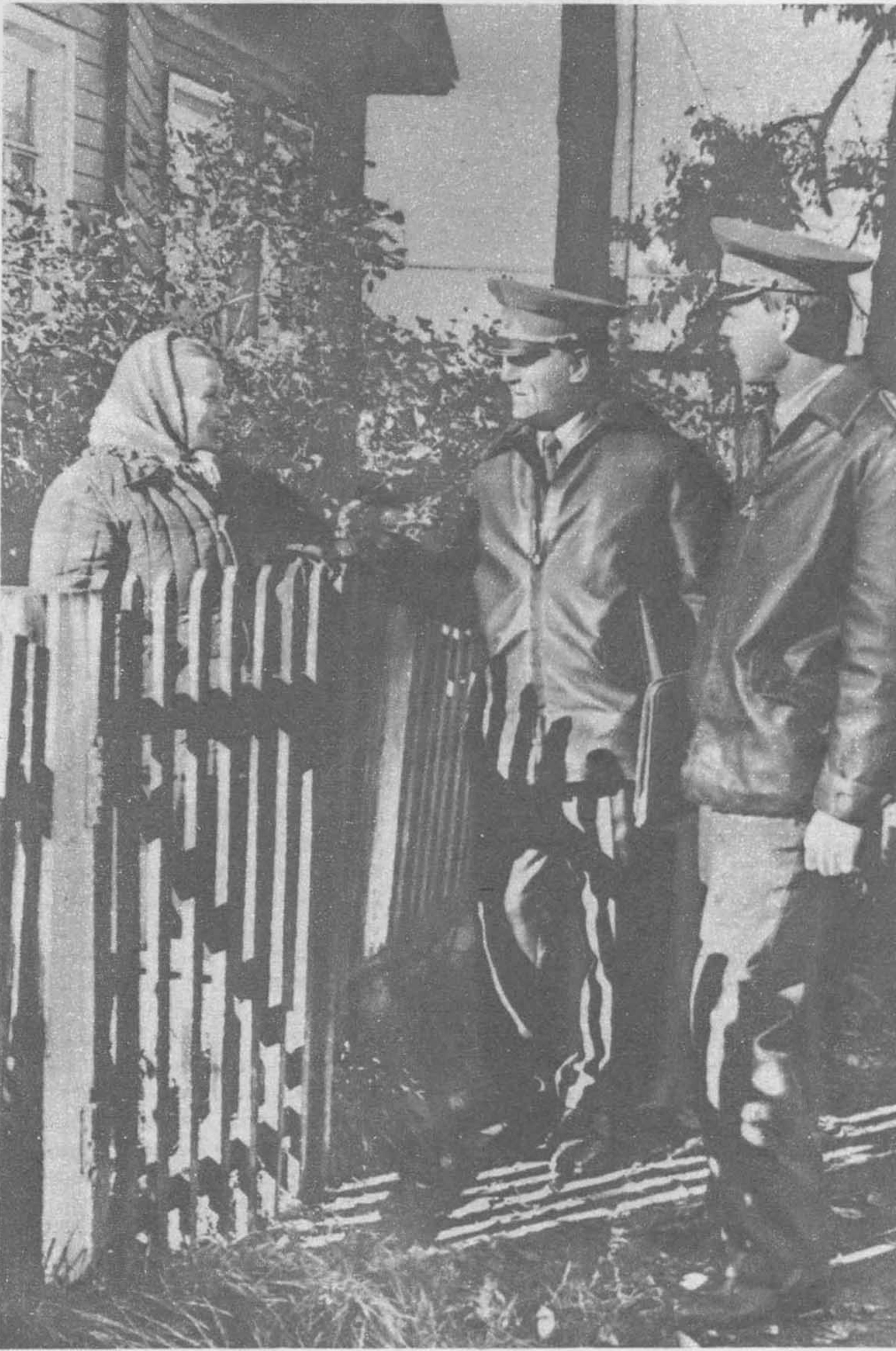




Фото Ю. ЩЕННИКОВА

БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА

Популярные композиторы «новой волны» — очевидный факт нашей культурной жизни. Но талантливые ленинградцы Б. Гребенщиков и В. Резников, москвичи И. Николаев, Ю. Чернавский, А. Макаревич не являются членами Союза композиторов. Молодым музыкантам просто необходимо иметь свой союз, где обсуждались бы их произведения, велись дискуссии о творчестве... Какова должна быть форма такого объединения, кто возьмет на себя инициативу его создания? Может быть, фирма «Мелодия»?

Публикуя эссе Андрея Вознесенского, мы ждем, что участие в разговоре примут все заинтересованные «лица и организации».

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Он приехал в Переделкино, как всегда, неожиданно, после внезапного звонка — по-хорошему худой, этакий вольный рок-стрелок, с гитарой вместо лука или арбалета. Привычная к странствиям куртка, холщовый подсушок, удлиненное бледное лицо с улыбочкой фавна и полусапоги, которые он порывался снять, чтобы не наследить, — все обозначало в нем городского Робина Гуда.

Освоясь в тепле, ночной гость рассказал, как на днях утонул Саша Кукуль, скрипач из их «Аквариума», — переплыл Волгу, а на обратном пути сил не хватило.

БЕЛЫЕ НОЧИ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА

нечно, может, кому это удивительно, а мне другое странно. Почему именно об этом классе сказали, у нас таких немало.

С Геннадием Леонтьевичем у нас полное взаимопонимание. Иногда за сутки несколько раз друг другу визиты нанесем: то он ко мне в кабинет, то я к нему. Случаются споры. Помню, он предложил выделить жилье для учителей и работников общепита. Я было засомневался: надо, мол, прежде «своих» квартирами обеспечить, а Селезнев верно рассудил, что педагоги и повара такие же свои, как и механизаторы. Куда без них? Широко мыслит человек.

И все-таки иные сомневаются: ну, а милиционер — чем подсобит конкретно? Советом, записями из книжечки? Отвечу.

Первое: иначе не могу, душа у меня переворачивается, когда вижу просыпанное зерно. Раньше крестьяне рожь, пшеничку взвешивали до грамма. Не от жадности, труд свой ценили. Теперь урожай на грузовиках прикидывают, только каждый колосок все равно беречь надо. Тому и учу молодежь: беречь нажитое.

Второе: зачем людей до греха доводить, если можно остеречь. Такой пример. На планерке бригадир Бражкин жалуется на одного работника. Парень загулял. Он, конечно, скан-

далов не поднимает, милиции тут вроде делать нечего. Но надо помочь парню вовремя. Иначе завтра натворит бед, не расхлебает. Беседовали мы с ним не раз, а толку мало. Сняли его с машины и отправили в сторожа: пусть обмозгует свои делишки на досуге. Правление всегда меня поддерживает. Как ни нужен комбайнер, особенно в страдную пору, без раздумий разжалуют в подсобники. Не только о сегодняшних рублях и процентах думают люди, а о том, как будет жить коллектив завтра.

На нашем милицейском языке все это можно назвать профилактикой. Получается, не зря занимаюсь колхозными делами.

И третье: совсем сроднились мы с талицкими за общими хлопотами и заботами. И за порядком на селе стоят мои земляки. Тут как-то заезжие спекулянты навезли разного товара на село, прямо целая ярмарка. Кое у кого глаза разгорелись: в сельском магазине такого не увидишь. Однако тут же ко мне прибежали: иди разберись, что за люди смущают тут...

Или совсем другой случай. Отправился я в дальнюю поездку, участок-то немалый. Без меня преступление произошло. Ударил человека ножом. Виновного сразу задержали, не стали дожидаться участкового, в отдел отправили. А почему? Потому, что знают: без по-

рядка нельзя хорошо работать, растить хлеб. Земля злым рукам не поддается.

...Беспокойно жилось мне в участковых эти двадцать с лишним лет. И если бы не люди... Актив мой — за две сотни человек, и все больше молодежь. Никогда не забыть, как мы на пару с техником Колей Шабановым километр за километром ползли по сыпучему снегу до воров, которые украли пилу «Дружба». Или как тушили пожар на ферме колхоза «Свобода»: талицкие все побросали, кто на чем добирался в чужое хозяйство — скотину спасать, добро.

Наш первый секретарь райкома партии сказал однажды: «Ты, Владимир Владимирович, скоро всю молодежь запишешь в дружину». С улыбкой сказал, одобряет. Он-то знает: в ДНД без проверки в Талицах не берут, и только на общем колхозном собрании вопрос решается.

Так вот и живем на родной земле. Секретов у нас нет. Просто любим свой край, хотим сделать его еще богаче и чтобы дети для того же себя не жалели...

...Надо было видеть реакцию талицких колхозников на сообщение: «Мешалкин на пенсию собирается». Сожаление, оторопь — дескать, как же без него. В самом деле: как? Ведь это благодаря его неустанному труду спокойно на

Перед тем как запеть, гость разложил на столе рядом со столовыми приборами музыкальные футлярчики и надел на шею металлический хомут-подставку для губной гармошки. Начал с «Деревни».

Ах, эта музыка деревни, оркестрованная в постпинкфлойдовской манере кваканьем лягушек, ночными вздохами и потусторонней скрипкой Куссуля, где протяжные северные российские распевы переплетаются с кельтскими, это отнюдь не полуграмотная простушка стиля «а-ля рюсс», а новая загадка, в которой есть судьба, свобода, душа и свой язык — о чем ты, вечно вечная и новая природа?

«Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле», — поет гость.

Я изучаю свойства растений и трав.
Я брошу в огонь душистый чебрец.
Дым подымается вверх. И значит, я прав.

Ночные переделкинские перелески и сирени прильнули к стеклам послушать про себя.

Если же станет темно, чтобы читать Тебе, —
Я открываю дверь. И там стоит ночь.

Голос Бориса Гребенщикова высокий, странный, с нереальным отсветом, будто белая ночь. Культура Северной Пальмиры стоит за ним.

Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне.
Как раскинувшийся панорамой
Петербург за Невую бескрайней.

Когда он, закрыв веки, оборачивается к окну в профиль, его белокурые волосы, схваченные сзади тесемкой, чтобы не мешали, походят на косу времен Павла I.

В отличие от «хард-рока» и «металлистов» автор бережен к слову, он следует не только школе ироников Заболоцкого и Хармса, но и волевоу глаголу Гумилева.

Сквозь пластмассу и жест
Иван Бодхидхарма склонен видеть деревья
Там, где мы склонны видеть столбы.

Видимо, ирония и пластический монтаж культуры Заболоцкого в музыке времени. После того, как я сказал ему, что его ранние «иронизмы» напоминают «Столбцы» Заболоцкого, Борис кинулся читать Заболоцкого и был сам поражен близостью стиля. Оказывается, он знал Хармса, но Заболоцкого ранее не читал, а писал схоже — сейчас в «новой волне» поэтов идет второе рождение взгляда Заболоцкого. В зрелищных веселых хэппингах, которые проводятся новым московским молодым клубом поэзии сейчас, в сложном и гротесковом стиле стихов Искренко, Арабова, Кутика и других его поэтов улавливается та же нота.

Гребенщикоу 33 ныне. Принято считать это возрастом Христа и Ильи Муромца, возрастом душевных свершений. Он окончил факультет

математики ЛГУ, работал программистом, подтверждая практикой тезу петербургского поэта, что надо верить больше математике, чем мистике. Его отличает тонкий профессионализм, артистизм, истинное знание классики. Еще студентом, оцепенев от «битлов», основал он ансамбль «Аквариум», пожалуй, самую некоммерческую из наших рок-групп. Он популярен. Люди, не знающие его аудитории, представляют ее сборищем нравственных уродов и истеричек. Между тем это серьезные знатоки. Ему, как сегодняшнему лидеру «кассетной культуры» (существует такой полуиронический термин), пишут тысячи — студенты, молодые солдаты и офицеры, таежники. Музыка единит людей и народы.

Когда к нам заезжал Боб Дилан, мне не удалось их свести, но, думаю, заокеанскому кумиру пришлось бы по душе русские распевы современного ленинградца. Зато с Алленом Гинсбергом они заинтересованно играли друг другу в наших деревянных стенах. А вчера художник совершенно иного поколения, загорелый и белый, как лунь, в алом галстуке, Альберто Моравиа, не понимая по-русски, но понимая нечто высшее, что дают музыка и время, отстукивал пальцами по столу ритм его ностальгической песни и с тоской всматривался в осеннее смеркающееся окно: «Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле».

Сейчас общество «Италия — СССР» пригласило «Аквариум» дать концерт в Риме в честь юбилея этого общества. Они хотят слышать новые наши ритмы, наших молодых.

«Всуюю», под гитару и губгармошку, поет он свою песню «Глаз», которая, конечно, теряет без оркестровки труб, но выигрывает в искренности:

На нашем месте должна быть звезда.
Ты чувствуешь сквозняк оттого,
что это место свободно.

Вслушиваясь в ночного гостя, ищущего свои пути, в его «Детей декабря» и «Небо», я пытаюсь понять загадочное ироничное племя, про которое столько ворчливо вдали, видели в нем только варварство, отпихивали от культуры, нарекали эгоцентризмом и инфантилизмом. Но именно они, юные пожарники Чернобыля, без защитных скафандров шагнули в огонь, спасли Киев и нас с вами, именно они, аудитория Гребенщикова, двадцатилетние пограничники, вытащили десятки тонущих с «Нахимова». И наоборот: во время работы над поэмой «Ров» я изучал материалы преступления гробокопателей, разрывавших захоронение 12 тысяч наших людей, уничтоженных гитлеровским геноцидом. Они похищали у скелетов ценности. Хочу повторить, что среди этих преступных мужчин не было молодежи. И в читатель-

ских письмах, «откликах на отклики», опубликованных «Советской культурой», пришли особенно возмущенные и чистые письма молодых. Из Новосибирска пришли тетрадки взволнованных школьных сочинений на эту тему. Поверим им. Их сложному внутреннему миру. Пусть играют и слушают что хотят. Давайте добрее прислушиваться к их вкусам.

Музыка для них не только главное увлечение, это средство общения в разрозненной жизни. Нынешние дети с ходу отличают группы «Зоопарк», «Браво», «Кино», «Роллингстоунз» и «Коктоз твинз», так же как детство их прадедов отличало раскраску ирокезов от могикан по Фенимору Куперу и Майну Риду.

Происходит рождение некоего коллективного музыкального сознания, миллионы магнитофонов страны сливаются в некую духовную индустрию, по кассетному селектору откликаются миллионы душ. Это — явление. Или правда, идет создание «рок-фольклора» молодого народа эпохи НТР?

Путь в Союз композиторов сложен и многолетен. Молодой музыке «новой волны» нужно свое «вечное», творческое объединение.

Освоенная массами современная музыкальная аппаратура ничуть не сложнее для детей компьютерного века, чем была для своего времени гармошка, изобретенная в прошлом веке.

В случае Гребенщикова эта новая стадия «устного народного творчества» сложна и тонка по вкусу. Настоящий мастер всегда образован. Скажем, кажущаяся площадностью Высоцкого обманна — он читал и читал Бальмонта, Цветаеву и современных мастеров. Новая музыкальная культура, пробиваясь с боем, противостоит как тугоухим консерваторам, так и разливанному морю механической поп-халтуры.

Не всем новое явление по вкусу. Есть вещи еще недодуманные. Так и должно быть.

...Вдруг, окончив одну из песен, он негромко говорит, размышляя: сейчас нечто высшее соединяет музыкантов, поэтов, художников и нечто высшее объединяет разные поколения творцов, не противопоставляет их друг другу. Он имеет в виду общность духа.

Уходя, застенчиво ссутулясь, Борис дал мне свою прозаическую повесть, уходящую в глубь русских сказов и «нескладух».

Новое время работает на новые песни.

Гребенщиков написал более 200 песен. Из них составлено 10 тематических альбомов. В этом году фирма «Мелодия» выпускает наконец его первый диск. На худсовет он пришел коротко стриженный, что не портило его, но давало его облику ветер и новизну.

На этом диске прозвучат последние записи скрипки Александра Куссуля. Жаль, что тот уже их не услышит.

участке. Стабильная, если говорить профессиональным языком, обстановка, стопроцентная раскрываемость правонарушений вот уже много-много лет.

Низко поклониться надо неумолимому труженику Владимиру Владимировичу Мешалкину. А разве менее важен след, оставленный в людских душах? Своей судьбой, честной, прямой, он воспитывал других, на многое открывал глаза.

Буквально на днях позвонили из Кириллова: ушел на заслуженный отдых майор милиции Мешалкин. И хотя готов был к этой весте, не сразу поверил. Нет, не может такой человек покинуть строй. Пусть милицкий китель, вылинявший под дождями, выгоревший под солнцем, повешен в шкаф. Но беспокойную душу не сдать на хранение.

И впрямь не сидится ветерану дома. Земляки не принимают его отставки — идут за советом, помощью. Ну, а младший лейтенант милиции В. Архипов, принявший участок Мешалкина, редкий день не навещается к своему наставнику.

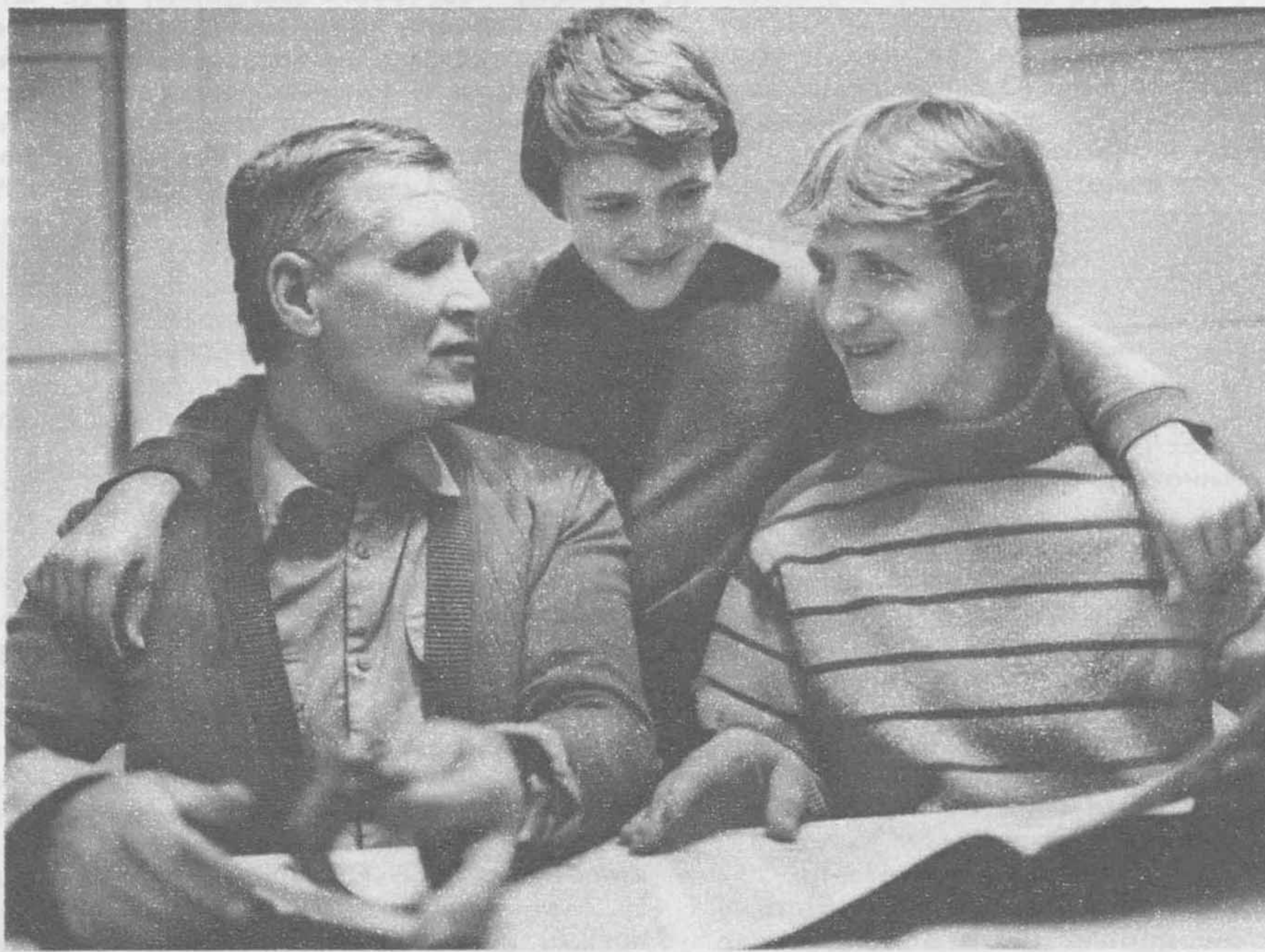
Так и не кончается рассказ о Владимире Владимировиче. Добрые дела его продолжают.

А. ЕРМОЛАЕВ,
капитан милиции

Вологодская область.

Фото
А. БОЧИННА

Владимир
Владимирович
с
сыновьями
Сашей
и Колей.



ЛОМОНОСОВ

«Вся жизнь его была прекрасным подвигом, непрерывною борьбою, непрерывною победою.

Голова ходит кругом от мысли, что было сделано в России до Ломоносова, и что он должен был сделать, и что сделал...

Не прекрасна ли такая жизнь?

Не интересен ли такой человек?

Или лучше сказать, не должны ли

такие люди составлять предмет живейшего любопытства, глубокого благоговения для всех народов вообще и для своего в особенности?

Не есть ли Ломоносов одна из самых ярких народных слав?

Ученый, поэт и литератор,

не по случаю, а по призванию,

он преодолел тысячи препятствий

и во всю жизнь остался человеком, ученым-тружеником... Как резка разница между гением и простым дарованием!»

В. Г. БЕЛИНСКИЙ



19 ноября весь мир отмечает 275-летие со дня рождения

великого русского ученого, поэта, просветителя

Михаила Васильевича Ломоносова.

Какова роль Ломоносова в вашей жизни?

В чем сказалось на вас

влияние его личности?

На эти вопросы

корреспондент «Огонька»

Ванда БЕЛЕЦКАЯ

попросила ответить

трех известных ученых

разных специальностей.



НАШ ПЕРВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Вице-президент АН СССР
академик А. А. ЛОГУНОВ,
ректор МГУ
имени М. В. Ломоносова

— Михаил Васильевич Ломоносов — личность сама по себе исключительная. Жизненный подвиг его всегда вызывал изумление. Но, пожалуй, никогда он не был нам столь близким, не был более соизвучен времени, чем сегодня.

Представьте себе Россию 1761 года. Какие общественные идеи владеют крестьянским сыном, ставшим первым русским академиком? «Все оные по разным временам замеченные пороки мысли подведены быть могут под следующие главы», — пишет он. Вспомним лишь некоторые из этих «глав»: О сохранении и размножении российского народа; О истреблении праздности; О исправлении нравов и большем народа просвещении; О исправлении земледелия; О лучшей государственной экономии...

Не кажется ли вам, что это наши сегодняшние заботы (разумеется, на другом уровне), самые острые, самые безотлагательные? По-моему, символично, что 275-летний юбилей нашего первого революционера в науке мы празднуем в год революционной перестройки и науки, и промышленности, и высшего образования...

Узнал я о Ломоносове впервые из школьного учебника, заинтересовался, попросил в библиотеке о нем книжку. Учился я в школе в Пензенской области. Сын неграмотного рабочего, конечно, не помышлял я тогда, что буду заниматься наукой, но великий пример на то он и великий, что ведет нас по жизни, даже когда мы сами и не отдаем себе в том отчета.

А вот как научному работнику мне дороже всего в Ломоносове его принципиальность — человеческая, гражданская, научная. Во все времена естествоиспытателю нужны смелость и принципиаль-

ность. Без этих качеств ученого не бывает.

Научная принципиальность Ломоносова поистине безгранична. Всю свою жизнь он вел борьбу за истину. Вот лишь два примера, когда Ломоносов не побоялся выступить против незыблемых авторитетов в мировой науке — Бойля и даже великого Ньютона, перед которым сам преклонялся (речь идет о конкретных работах, а не вообще об отношении его к этим ученым).

Бойль утверждал, что вес металлов при обжиге увеличивается. Ломоносов проделал массу опытов, доказал, что Бойль не прав, и сформулировал принципиальный закон природы о неуничтожаемости материи и неуничтожаемости движения, объявив его всеобщим законом естествознания. Вся Петербургская Академия наук обрушилась на Ломоносова за подрыв авторитета знаменитого Бойля.

Еще разительней пример научной смелости и принципиальности Ломоносова — критика им взглядов Ньютона на природу света. Величайший английский физик объяснял природу света истечением особых корпускул. Его поддерживали все ученые мира. Ломоносов один из первых в истории науки заговорил о волновой природе света. Лишь спустя много десятилетий стало ясно, что прав Ломоносов. Но тогда даже умнейший Эйлер, глубоко ценивший Ломоносова, не решился его поддержать.

Не менее смелым был полный разгром Ломоносовым теории «теплорода», объяснявшей теплоту, свет, электричество, магнетизм некими флюидами. Единственным объяснением теплоты Ломоносов считал движение. Открытие этого закона он называл своей главной заслугой перед наукой.

Нам всем еще со школьной скамьи знакомы слова Пушкина о Ломоносове: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник... Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Жизнь навсегда связала меня с Московским университетом, носящим имя Ломоносова: здесь учился, преподавал и преподаю до сих пор, вот уже около десяти лет являюсь ректором МГУ, стараясь на этом высоком посту, как говорил Ломоносов, «умножать пользу Отечества».

Московский университет был открыт 7 мая 1755 года в здании Главной аптеки на Красной площади, в том месте, где теперь находится Исторический музей. До сих пор меня поражают «проект и план» университета, составленные лично Ломоносовым, поражают своей современностью, мудростью, гражданственностью. Проект учитывал насущные потребности страны в специалистах с широкой общеобразовательной подготовкой и умением работать в определенных отраслях хозяйственной, научной и культурной деятельности. Чрезвычайно примечательно, что Московский университет был тогда единственным в Европе, где не было богословского факультета и богословие вообще не преподавалось. К тому же занятия шли не на латыни, как везде, а на родном для учащихся русском языке. Ломоносов лично сам создавал русскую научную терминологию, многие из введенных им терминов сохранились до наших дней. Именно Ломоносов, отец университета, добился одинаковых прав поступления туда для всех сословий. В университете «студент тот почтеннее, кто больше научился, а чей он сын, в том нет нужды», — гордо говорил он. А когда захотели закрыть двери университета перед детьми крестьян, Ломоносов гневно ответил: «Удивления достойно, что не впал в ум господину Фишеру, как знающему латынь, Гораций и другие ученые

и знатные люди в Риме, которые были выпущены на волю из рабства, когда он тоих презренно уволенных помещичьих людей отвергает...»

А при университете, по мысли Ломоносова, должна быть гимназия, чтобы готовила новую смену, ибо без гимназии университет — «пашня без семян».

Иногда приходится слышать: воспитывают стены. В Московском университете всех нас до сих пор воспитывает имя, которое носит университет, имя его создателя, удивительного человека и ученого — Михайлы Ломоносова, воспитывает его великий пример служения Отечеству, науке.

Единственный прижизненный портрет М. В. Ломоносова. 1757 г. *

Все это напоминает о великом ученом: «Стеклобинный кабинет», личные книги, деталь мозаичного столика, выполненного им самим *

Там, за Невой, некогда ходил «архангельский мужик», академик Петербургской Академии наук Михайло Ломоносов.

На развороте вкладки: «Полтавская баталия».

Мозаичная картина М. В. Ломоносова [деталь] *

Китайский дворец в городе, носящем имя гения русской науки.

Здесь находится много предметов, им изготовленных *

В такой обстановке проходили заседания Петербургской Академии наук *

Мраморная скульптура из ломоносовского дома *

Физический отдел музея Ломоносова в Кунсткамере *

Этим чайником пользовались в семье Михаила Васильевича *

Малый телескоп, с которым работал М. В. Ломоносов.

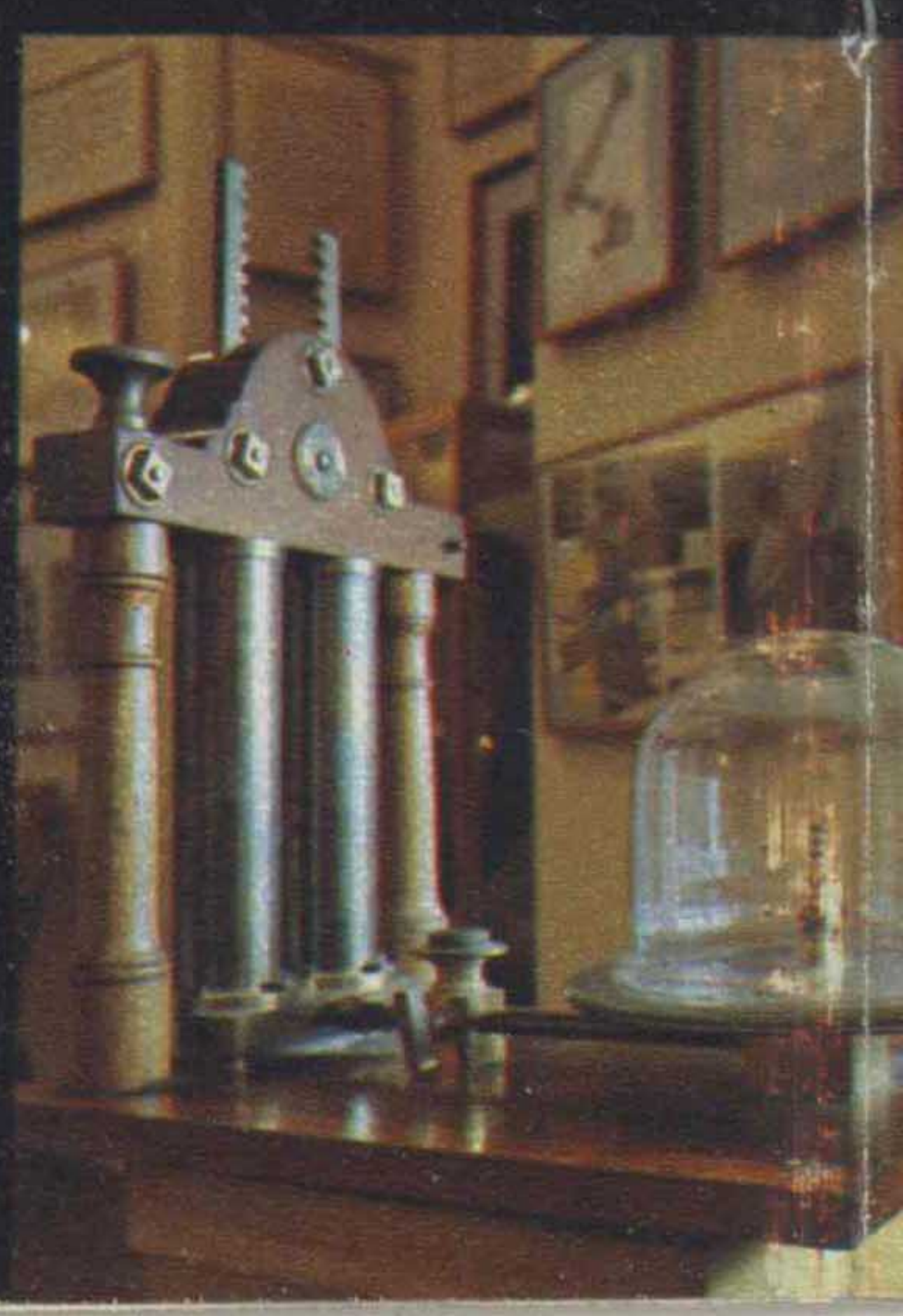
Фото Э. ЭТТИНГЕРА

Продолжение на стр. 20—21.



Москвитинъ. здесь Маршаль изображенъ антино,
 Что чистой слога стиховъ и прозы аветъ въ Россію.
 Что въ Римѣ Цицеронъ и что Виргиліи былъ,
 То онъ одинъ въ своемъ понятіи вѣдѣлъ,
 Открылъ природы храмъ богатствомъ словомъ Россіи,
 Примеръ ихъ остроты въ наукахъ Ломоносова.









Беседа режиссера
Юрия МОЧАЛОВА
с актером
Николаем КАРАЧЕНЦОВЫМ

Если не считать зрительских впечатлений, мы с Караченцовым не встречались лет пять. Но я хорошо представляю себе его образ жизни. Вот и сегодня: прошедшей ночью он прилетел с гастролем из Кемерово, будущей — уезжает с концертами еще куда-то. А в этот час снимается на «Мосфильме». После съемки обещал заскочить на двадцать минут, если ничего не случится. Но то, что не подведет, не забудет, — это точно.

— Попробуем начать с истоков. Чайковский как-то сказал, что в детстве мы сплетаем золотой клубок впечатлений, который потом разматываем всю жизнь. Согласны вы с этим?

— Конечно. Но для актера, я бы сказал, дело не только в этом. Мы рождаемся с предрасположенностью заниматься искусством или без таковой. Затем, пройдя через детство, очень важно сохранить в себе непосредственность, в чем-то детское восприятие мира. Тогда всю жизнь клубок будет не только разматываться, но и увеличиваться от новых впечатлений.

— И все-таки, первоначальная предрасположенность может быть заглушена, а может с ранних лет культивироваться. Насколько я знаю, мама ваша — балетмейстер?

— Да. Я рос в атмосфере искусства, среди людей театра. Все мое детство каждое лето мы проводили в обетованной земле артистов — в Щелыкове, бывшем имении Островского...

— И каждый, конечно, спрашивал об одном и том же...

— ...и всякому я отвечал, что нет, актером быть не собираюсь. По природе своей я человек скрытный... Да, да, если мне нравилась девочка, надо было больше, чем других, дергать ее за косы, чтобы никто не подумал, что я влюблен. Чем больше во мне зрела мечта о сцене, тем горячее я заверял всех и себя тоже, что подобных мыслей у меня нет. Когда я стал обладателем аттестата зрелости, я по-прежнему упорно уводил себя от своей мечты. Но поскольку экзамены во все институты в августе, а в театральные — раньше, я решил попробоваться. Просто так... Но едва переступил порог Школы-студии МХАТа, ясно понял, что никуда из этого мира не уйду.

— Переход из школы в театр для некоторых проходит сравнительно гладко, но, насколько я наблюдал, чаще это нелегкая ступенька. Каким был для вас этот рубеж и как вспоминаются первые дни в театре?

— Мы пришли в Московский театр имени Ленинского комсомола с курса вшестером. Это немного облегчило первые шаги. Но пришли в нелегкий период, когда после ухода из театра Эфроса с группой актеров коллектив был деморализован. Зато на наши плечи сразу свалилось много работы. Первые дни я вспоминаю как бешеную радость: «Я — актер!». Счастье выхода на сцену и в роли, где всего два слова и где нет ни одного. Скоро пошли и роли побольше, хотя Москва тогда нас не замечала. Но для профессионального роста такая интенсивная практика (иногда до сорока спектаклей в месяц) была принципиальна. В театре было у кого поучиться. В нескольких спектаклях я встретился с С. В. Гиацинтовой. Это стало для меня продолжением школы старого Художественного театра. Софья Владимировна была эталоном артистичности. Она была прекрасна и в жизни и на сцене, даже если играла отрицательную роль...

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВВЕРХ

— Говорят, что из трех испытаний, которые проходит художник, первое — испытание непризнанностью, бесславием — в результате полезно.

— Во всяком случае, для меня эти первые пять лет были серьезным фундаментом для будущих этапных ролей.

— А какие же это роли?

— Первой из них был Карабанов в «Колонистах», наша с вами, Юрий Александрович, совместная работа...

Тут я должен сделать небольшое отступление для читателя.

В 1960 году мне, студенту, повезло познакомиться с любимым учеником Макаренко — замечательным педагогом Семеном Афанасьевичем Калабаиным — легендарным Семеном Карабановым из «Педагогической поэмы». Впечатление от его личности было столь ярким, что я дал себе слово вернуться к этой теме в профессиональном театре. Мечта моя осуществилась через тринадцать лет, когда я получил предложение Театра Ленинского комсомола написать пьесу по произведению Макаренки и поставить по ней спектакль. Роли распределились хорошо, не видел я в труппе только Карабанова. Были уже мысли о приглашении актера со стороны, когда однажды, при очередном просмотре спектакля «Прощай, оружие!», я обратил внимание на одного из участников «хора». Все работали с отдачей, но в этом паре было что-то особенное. Произнося свои короткие реплики и вряд ли рассчитывая быть замеченным, он краснел, бледнел, прогорал так, как — мы теперь знаем — «сжигает себя» этот человек каждую минуту своего творческого бытия. Фамилию молодого актера мне удалось установить лишь после спектакля.

Работу с Караченцовым мне вспомнить радостно, как никакую другую. Еще в репетиционном зале я получал высшую награду, о какой только может мечтать режиссер: воплощение своего замысла один к одному, чистый металл без примесей. К сожалению, исполнитель не сделал ни одного замечания актеру, «подталкивая» его к прототипу: между ним и автором «Педагогической поэмы» посредника не требовалось.

— Эта роль была для меня большим подарком и серьезным шансом. Мощную личность Карабанова я, как мне кажется, ощущал через литературный материал с самого начала.

— Все последующие программные работы были созданы вами вместе с Марком Захаровым...

— Больше всего я ценю в Захарове художническую неожиданность. После того, как появился «Тиль», многие сделали предположение, что и дальше режиссер будет работать в подобной манере. Однако за «Тилем» последовали и «Иванов», и «Жестокие игры», и «Юнона и Авось», и «Оптимистическая трагедия», и «Три девушки в голубом», и, наконец, «Диктатура совести». Эти постановки контрастны не только по жанрам, но и изначальному режиссерскому подходу и всему комплексу выразительных средств. Соответственно и я, будучи занят в большинстве из них, каждый раз оказывался как бы перед белым листом бумаги — необходимостью искать принципиально новый подход к роли.

— Для художника, после непонимания, непопулярности, вторым, гораздо более суровым испытанием считают большой успех. Уже лет десять вы более чем популярны. Ваша фамилия мелькает очень часто. Не слишком ли? Не работает ли творческая жадность в чем-то против вас? Меня это очень беспокоит, и я говорил об этом не раз.

— Помню. Здесь есть известное противоречие. С одной стороны, жажда работы порождает постоянный творческий голод, желание не пропустить ни одного сколько-нибудь значительного повода выйти на широкого зрителя. С другой, действительно опасно, если это может обернуться всеядностью, разменом себя. Но противоречие это на сегодняшний день как будто стал преодолевать. Прежде всего научился отказываться от предложений средних, сомнительных, чтобы иметь возможность остановиться, уединиться, осмыслить сделанное. Жизнь коротка. Не хватает года, дня.

— Вот, например, и сегодня. Мы уже говорим полтора часа. И тем не менее еще два важных вопроса. Как вы оцениваете теперешнее положение театра?

— Прежде всего, у нас поразительно, я бы даже сказал, оскорбительно мало театров в сравнении с европейскими столицами или даже с довоенной Москвой. Нужны театры самые разные: и академии, сберегающие старую национальную культуру (как «Комеди Франсез» или «Кабуки»), и экспериментальные. Только тогда наряду с золотой серединой будут рождаться настоящие объективные ценности. Луначарский не очень любил Театр Мейерхольда, но поддерживал его. Известно его высказывание, что не будь Мейерхольда, не родился бы на сцене Художественного театра шедевр Станиславского «Горячее сердце». Имеют право на существование и театры на один сезон или на одну постановку.

— И последний важный вопрос: ваше творческое кредо и надежды?

— Я всегда верил в добро. Не терплю хамства и готов бороться с ним всю жизнь. Прежде всего средствами своего искусства. То есть тем же добром, которое для меня не только принцип, но и метод. Ведь это единственный ключ для создания творческой атмосферы в репетиционном зале и на съемочной площадке. Добрая улыбка осветителя может поднять уровень моей работы в этот день на несколько порядков.

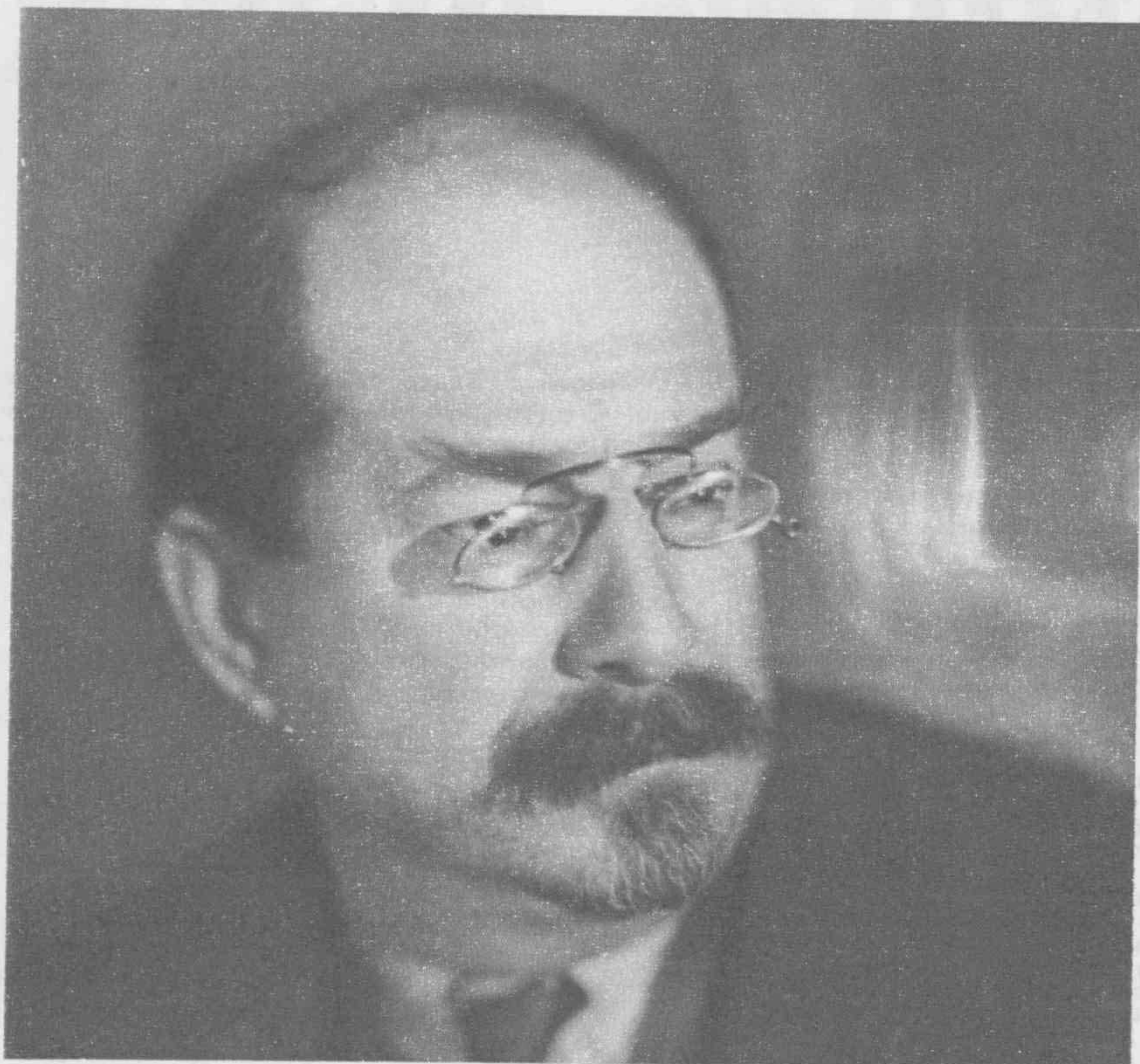
За последние годы появилась у меня еще одна сквозная тема и цель: борьба с инфантилизмом. До тридцати, а то и до сорока лет старшие считают нас детьми, а мы, то есть многие из нас, иждивенствуем за их счет. Обстановка гласности и самостоятельности дает надежды на более раннее раскрытие и утверждение личности во всех сферах жизни. Мы сейчас много говорим об этом, порой даже слишком много. Менястораживает, когда некоторые чересчур часто заявляют о своем стремлении соответствовать духу времени. Хочется спросить: а что вы делали пятнадцать лет назад? Не скрыты ли за такими заверениями новые формы мимикрии? И не лучше ли стремиться соответствовать прежде всего своим убеждениям и отстаивать их в любых ситуациях словом и делом? Может быть, это и есть истинное соответствие духу настоящего и будущего? Это касается и моих надежд. Вижу перед собой лестницу — не славы, а совершенствования себя в профессии. Стараюсь смотреть вниз, чтобы не поскользнуться, и вверх, чтобы идти вперед...

...Караченцов исчезает так же неожиданно, как появился, оставляя после себя знакомое ощущение предельной человеческой чистоты, цельности, экспрессии... И уверенности, что этот художник одержит победу и в третьем, самом серьезном испытании — испытании временем!

Заслуженный артист РСФСР
Николай Караченцов.

Фото В. ПЛОТНИКОВА

...СИЛА ЖИЗНИ С НАМИ!



Анатолий ЛУНАЧАРСКИЙ

Ты видишь ли сквозь ветви,
дорогая,—
Мощь памятников,
смякнутых певцов.
Задумчивость,
медлительно слагая,
Отрывки шепчет поэтичных
строф.
Там у густой, узорчатой опушки
Стоит, склонив кудрявую главу,
Задумчивость, недвижимая,
как Пушкин,
Забывший среди шума
про Москву.
Здесь шума нет,
мечтательности птица
С лазоревым крылом и песней
в ла-минор
Готова каждый миг с тобой
проститься
Под трепет нежный
нежносмутных втор.
Пойдем с тобой запущенной
аллеей,
И прошлое пойдет,
нам путь кадя,
И я, весь мир любя и сожалея,
Взгляну в твои
волшебные глаза.
Остафьево, оставь же у порога
Сия молчаливых комнат
и садов,
Оставь мои вседневные
тревоги,
Пребуди со мной, всегдашняя
любовь.

Остафьево, 1925 год.

КРИВОЙ

Чему внимаешь ты с такой
Завороженной улыбкой?
— Не слышишь разве, за рекой
Колдует черт
проклятой скрипкой.
Глядит сквозь черные очки,
Как силой бездны непонятной,
Кружат бесовские волчки
В симфонии для нас невнятной.
И передразнивает бес
С косою и желтою гримасой
Хорал торжественных небес
Рыданьем исступленных плясов.
Меня пленяет сатаны
Всеискажающая скрипка:
В ней ритмы солнц отражены
В стихии человецье-зыбкой.
Пусть ангелов пугает вид
Их ликов дико искривленных,
Но вечных песен полусонных
Лишь чертов перепев манит.

Апрель 1921 года.

СОНЕТ

(Посвящается И. А. Бунину)

— Ты знаешь тень и блеск,
и радость, и печаль,
И будничный язык, и радужные
сказки
Природы-матери. Ты ритмом
пишешь даль
И в слове отыскал
пленительные краски.

Яркая поэтическая одаренность Анатолия Васильевича Луначарского окрашивала все его многогранное творчество.

Политическая, государственная, научная, общественная деятельность занимала практически все его время. Рабочий день длился по 16 и более часов, для художественного творчества оставалось короткое время отпуска, командировок, переездов, болезней. Ему отдавались бессонные ночи.

Отвечая в конце двадцатых годов на анкету журнала «Огонек» «Как я отдыхаю», Анатолий Васильевич написал:

«Строго говоря, я вовсе никогда не отдыхаю. Даже в праздничные дни у меня чрезвычайно редко выпадает что-нибудь похожее на то, что обыкновенно называется отдыхом, о будних же днях вовсе не приходится говорить».

Стихи рождались стихийно, зачастую помимо воли автора, и набрасывались им на клочках бумаги, обороте телеграмм, официальных бумаг, обложках книг, в рабочем дневнике. Анатолий Васильевич никогда не возвращался к ним, не шлифовал, не готовил к печати, и, по-видимому, сохранилась лишь часть того, что было написано. При жизни он опубликовал едва ли десяток стихотворений и одну поэму. (Конечно, не имеем в виду пьесы, написанные стихами или включающие большие поэтические вставки.)

В одном из дневников Луначарского есть лаконичная запись: «С детства писал стихами и прозой». Но дошедшие до нас стихи написаны уже в наш век: самые ранние переводы относятся к 1900 году, а собственные стихи — к 1901-му:

Ах, прошло мое лето и осень пришла,
Осень горько-печальной разлуки!
И последние дни доцветают они,
Полны сладкотомительной муки.
О, последние дни, надо пить вас, как мед,
Старый мед золотистый и сладкий,
Каждый миг надо пить с упоенной душой,
Каждый миг быстролетный и краткий...

Печальны строчки молодого ссыльного революционера, уже четырежды побывавшего в тюрьме, проведенного несколько месяцев в одиночной камере.

Ярко проявилась поэтическая чуткость Луначарского летом 1905 года. Он послал Ленину поэму «К юбилею 9 января», и хотя нелегальная газета «Пролетарий», которую издавал Ленин в Женеве, стихов не публиковала, для поэмы Луначарского было сделано

исключение: Владимир Ильич сразу направил ее в набор. В августе, через полгода после Кровавого воскресенья, читатели «Пролетария» увидели эту горестную поэму, в которой наряду с эпитафией обманутым и погибшим рабочим были и такие строки:

И не хоругвь над головой
Завеет златотканый —
Мы знамя красное взовею.
Великий стяг наш бранный...
И не псалмы мы будем петь,
А марсельезу грянем:
Социализм — наш идеал,
И мы его достанем!..

Всего через три недели Ленин снова делает исключение: газета публикует сатирическую балладу Луначарского «Два либерала». Ее политическая злободневность и остроумие побудили Владимира Ильича процитировать строчку из баллады: «На скидочку скидкой отвечу» — в своей статье «Встреча друзей», опубликованной в том же году.

Анатолий Васильевич писал стихи не «по плану», но из-за внутренней потребности. Для понимания этого важно его собственное признание, сделанное в 1919 году. В предисловии к пьесе «Маги» он писал, что начал работать над этой пьесой в стихах ночами, после дней, переполненных «самой горячей и самой утомительной работой».

Именно утомительность этой работы, ее напряженность и ее яркость в освещении великих и горьких переживаний нашей революции и побуждали меня искать какого-нибудь интенсивного отдыха. Этот отдых я нашел в поэтическом творчестве.

Свидетельство тому и стихи без даты:

Я устал... не оттого ли
Так столпились стихи?
Напирают, жмут до боли
На светящие верхи.
Что за бог, иль что за демон
Их рождает в темноте?
То годами жутко нем он,
То, страдая в полноте,
В час, когда устало тело —
Мысли, звуки тучей целой
Шлет сознанью моему.
Будет! — Я себе хозяин!
Бездну през, фантомов, таин
Я захопну, как тюрьму.

Стихи А. В. Луначарского, которые «Огонек» предлагал сегодня своим читателям, публикуются впервые.

Ирина ЛУНАЧАРСКАЯ

¹ Публикуется впервые.

— Но тень тебе милей, печаль
тебе роднее,
И ярким сказкам ты
предпочитаешь быть:
Поешь природе ты и плачешь
перед нею,
И клонишься пред ней, как наш
родной ковыль.

— Друзья мне говорят: «Кто
этот странник бледный?
Сын проходящего столь
долгого поста
Не кликнет празднику трубой
звеняще-медной!»

— Но вслушайтесь, как песнь
его чиста,
И ждите: в нем готов
сверкнуть, как луч победный,
Пасхальный новый лик
народного Христа.

31 марта — на пароходе между
Капри и Неаполем. (1908 или
1909 год).

В ОДНУ НОЧЬ

Под небом радостной весны,
Блестящем, как эмаль,
Мне снятся тягостные сны,
В душе моей печаль:
В ту ночь, как Волга разлилась,
В бреду лежала ты.
Река могучая неслась
И рушила мосты.
Под лаской солнечных лучей,
Свой сбросивши покров,
Рвалась сильнее и сильней,
Страхнувши гнет оков.
Река свободная текла
Торжественно вперед...
В ту ночь ты гордо умерла,
Позорный сбросив гнет...
Я видел смерти роковой
Холодную печать —
Хотелось песнью громовой
Кого-то проклинать...

Апрель 1903 года.

Болезнь на склоне, словно тень,
Отброшенная смертью тощей.
Объемлет сердце тленьем лень,
Все в прошлом плеще, дали
плеще.

Зачем? Машина уж скрипит,
И ясно так, что ты машина.
Зенит? Ах, низок был зенит,
Равны долина и вершина.
Тень смерти резка и остра,
И все теряет сразу цену:
Чуть-чуть погрелся у костра,
Пригубил вин пустую пену —
И вот уйдешь... Куда?

В Ничто,
И за тобой пройдут другие.
Душа жила пустой мечтой,
И под конец, бедняк, не лги ей!
Но вот опять отходит смерть,
Глуха, бессмысленна, безока.
Пуста, как ноль, суха,

как жердь,
Тупа и даже не жестока!
Вдруг расцветает, словно рай,
Душа осенними цветами,
И слышишь песню: «Умирать
Не страшно — сила жизни
с нами!»

Каскадом льется серебро —
Существованья преизбыток,
Сияет вечное Добро
И вечный развивает свиток...
Так, в эти «нежилые» дни
Ты постигаешь умирание
И воскресенье. А они
Две главных темы мирозданья.

6 февраля 1932 год, Женева.

Если вы хотите открыть
для себя Индию,
понять ее народ
ее многовековую историю —
почитайте
Рабиндраната Тагора.
В его стихах, прозе
перед вами во всю ширь
распахнется гений
Рабиндраната Тагора,
который мог
заглядывать в будущее,
мог необыкновенно точно
передавать
надежды и желания
всех людей
нашей планеты,
главные из которых —
мир и любовь.
Сегодня, когда наше
сотрудничество с Индией
плодотворно развивается
по многим направлениям,
очень важно
не забывать о Первых.
Им было труднее всех,
но тем благодарнее
память наша.



Р. Тагор на вечере в Колонном зале Дома союзов. Москва, 1930 год.

Слово о Тагоре

Роберт
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Время от времени газеты, радио и телевидение радостно сообщают публике о том, что вот, мол, оказывается, живет рядом с нами человек, которому недавно исполнилось 120, 130 или больше лет. Живет себе, встает рано утром, питается исключительно сыром, пьет ключевую воду и никогда ничем не болеет.

Я с глубоким уважением и почтением отношусь к старости, однако, услышав про очередного долгожителя, всегда хочу понять, хочу знать: ну, а что он делал в жизни, этот человек? Что он делал, кроме того, что ел, пил, дышал и ничем не болел? Что волювало его, что радовало и что печалило? Что любил он больше самой жизни и что ненавидел? Чем были заполнены его бесчисленные минуты и часы, медленные дни и недели, быстрые месяцы и годы?

Рабиндранат Тагор прожил 80 лет. Срок этот, по нынешним, да, пожалуй, и по тогдашним меркам, вроде бы не дает права называться долгожителем.

Но я убежден, что истинным долгожителем Рабиндранат Тагор все-таки был! Ибо настоящая жизнь, помимо дней, годов и десятилетий, всегда измеряется еще и тем, что успел сделать человек в эти самые, отведенные ему судьбою, десятилетия, дни и годы.

Вот и попробуйте представить себе, сколько же прожил человек, если он успел написать за свою жизнь более 50 сборников стихов, 12 крупных романов и повестей, более 100 рассказов, десятки пьес, статей, множество работ по вопросам языка и литературы, народного искусства, философии, истории и религии. При этом учтите, что все эти стихи, романы, повести, пьесы, рассказы и статьи были высочайшего качества.

Не забудьте, что в это же самое время человек этот был профессиональным художником, режиссером, актером, композитором, музыкантом, автором более двух с половиной тысяч песен, многие из которых исполняются и сегодня! И что он — еще в 1901 году — основал в имени своего отца школу, сам преподавал в ней и руководил ею. А потом — в 1922 году — на ее основе организовал университет. Новый, внекастовый. И тоже преподавал там.

Вспомните еще, что он постоянно ездил по Индии, встречался с людьми, беседовал с ними, учился у них, постигал их думы, заботы и надежды.

Не забудьте также, что он успел побывать и в других странах — в Китае, Советском Союзе, Германии, Америке. Причем туризмом в этих поездках и не пахло, ибо все письма Тагора, все его статьи, написанные в дороге, свидетельствуют о том, что он не давал себе ни минуты отдыха, что он яростно и вдохновенно работал, внимательно вглядываясь в мир, вгрызался в его проблемы, делал острые и глубокие выводы. И всегда думал об Индии, о ее завтрашнем дне!

Так он жил. Так он трудился. Так он умел спрессовывать время. Мне даже кажется, что в его сутках было не двадцать четыре часа, а гораздо больше. А иначе: когда бы он смог все это написать? Как же он мог все успеть?..

Я перечитал недавно его «Письма о России» — книгу удивительную со всех точек зрения. И, пожалуй, в первую очередь удивительную потому, что многие наблюдения и мысли в этих «Письмах...» до сих пор обжигающе современны, даже злободневны!

Да, злободневны, я не оговорился. Судите сами. Вот что он написал о нас тогда, в тридцатом: «Им приходится торопиться. Им нужно, как можно скорее, доказать, что то, к чему они стремятся, не ошибка и не обман. Десяти-

летие бросает вызов тысячелетиям и уверено в победе!..»

Это сказано о нашем прошлом? Да, конечно. Но ведь в словах этих, если вдуматься, пульсирует и наш нынешний день, видны наши сегодняшние заботы и чувствуется наше сегодняшнее ускорение!

Я цитирую дальше: «Сейчас в мире есть лишь один народ, который заботится не только о своих собственных интересах, но и о судьбах всего мира...»

Это опять о нас — тогдашних. Но ведь и о нынешних — тоже!..

Я вчитывался в давнишние тагоровские «Письма...», и мне казалось, что их пишет человек, слушающий сегодня наше радио и читающий сегодняшние (а то и завтрашние!) газеты: так много в этих письмах жаркого дыхания самых животрепещущих, самых болевых проблем этого нашего месяца, этой нашей недели, этого дня!

Империалисты, пишет Тагор, «сколько бы ни кричали о мире, в душе отнюдь не хотят оставить разбойничьих замыслов. Поэтому во всех империалистических странах лес штыков растет быстрее колосов на полях...»

Повторяю: это сказано в тридцатом году. Но замените в этой цитате «лес» устаревших штыков на «лес» современных ракет, и вы окажетесь в нынешнем, восьмидесятом году, в теперешнем хрупком мире.

А вот еще одна фраза Тагора — удивительная, почти вещая. Мне даже стало жалько, когда я прочитал ее. «Преступления сильных мира сего переходят все границы: раньше они позорили землю, а теперь оскверняют небо...»

Оскверняют небо... О чем идет речь? О бже? А может быть, о программе звездных войн? Ведь именно это преступление переходит все границы!..

Рабиндранат Тагор был настоящим другом Советского Союза. Настоящим, я подчеркиваю это слово. Ибо он точно ощущал и понимал суть того, что происходило в нашей стране. Его радовала

и потрясала разбуженность масс, их неумная инициатива, их непобедимое стремление к знаниям! «Я был бы счастлив,— писал он,— если бы обладал, хоть в какой-то мере, той неиссякаемой энергией, смелостью, знанием и умением жертвовать собой, какие проявляются здесь в деле просвещения».

Однако дальше он замечал: «Я не могу сказать, что все у них совершенно — серьезных просчетов немало, и когда-нибудь они приведут к затруднениям».

Если говорить коротко, основная ошибка заключается в том, что их система просвещения шаблонна, а людей нельзя воспитывать по шаблону...

Вот так — откровенно и честно — писал Тагор о том, что видел. Но и эти строки кажутся мне удивительно злободневными! Во всяком случае, я воспринимаю их как еще один авторитетнейший довод в пользу той перестройки, которая идет сейчас в нашей средней школе и во всей нашей системе высшего образования. Так что спасибо Тагору за критику!..

А еще он писал прекрасные стихи.

То — нежные, как прикосновение тихого ветра, то — резкие и сокрушительные, как удар молнии!

Сравните: «Маленький цветок лежит в пыли. Он искал ту дорожку, по которой улетела бабочка...»

И рядом: «Неправда, вырастая и становясь могучей, все равно никогда не вырастет в правду!..»

Он говорил: «Люди жестоки, а человек — добр...»

Утверждал: «Корни — это те же ветви глубоко под землей, ветви — это те же корни высоко в небе...»

А вот как он обращался к женщине в доме: «Женщина! Грациозными пальцами ты прикоснулась к моим вещам: и — как музыка — вдруг явился порядок...»

Он любил — и славил любовь. Жил — и славил жизнь. Трудился — и всегда благословлял человеческий труд. А еще он ненавидел рабство и до конца своей жизни боролся против него.

Он был поистине великим поэтом.

И когда сегодня я вижу, как во время исполнения Государственного гимна Республики Индии встают люди, я верю, что встают они не только из уважения к гимну независимого государства, но еще и из уважения к Рабиндранату Тагору — автору этого гимна.

Для меня Тагор очень похож на людей эпохи Возрождения. Впрочем, он и был родом из той эпохи. Ведь вся его долгая жизнь была преддверием, была началом настоящего возрождения Индии.

Каждое утро над нашей с вами землей привычно восходит солнце. Восходит — и сначала, самыми первыми своими лучами освещает вершины высоченных снежных гор. А уже оттуда, с вершин, солнечный свет и тепло спокойно скатываются в земные долины.

Но в мире есть и другое солнце. Солнце вечности.

Восходя, это солнце самыми первыми лучами озаряет свои вершины, свои Эвересты — вечные вершины человеческого разума, вершины человеческого духа, вершины человеческой гениальности.

И одна из таких вершин — Рабиндранат Тагор.

Великий сын своего народа. Бесмертный сын планеты Земля.

Начало
на стр. 16



СТРЕМЛЕНИЕ К ИСТИНЕ

Член-корреспондент АН СССР
С. Р. МИКУЛИНСКИЙ

Я мог ожидать любые вопросы ко мне, связанные с жизнью и деятельностью Михайлы Васильевича Ломоносова, поскольку давно занимаюсь историей науки. Но ваши вопросы для меня совершенно неожиданные. Впрочем, если поразмыслить, то придется к выводу, который нетрудно обосновать, что Ломоносов так или иначе, прямо или опосредованно вошел в жизнь любого русского человека. И в этом нет ничего удивительного. Такова судьба гения. Тем более такого, необыкновенно всеобъемлющего, каким был М. В. Ломоносов. С него начинается наша литература, он был, как говорил В. Г. Белинский, «ее отцом и пестуном», поэтом, историком, филологом, реформатором нашего языка и великим естествоиспытателем. По целям, к которым он стремился, и по методам исследований, подходу к проблемам он ближе ученым XIX и даже XX веков, чем своим современникам. Лишний раз я убедился в этом недавно, когда читал корректуру «Избранных произведений» Ломоносова, которые мы готовили к юбилею.

Но влияние Ломоносова выходило далеко за пределы науки и даже культуры в целом. Во все времена выше интеллектуального воздействия выдающейся личности всегда было нравственное ее воздействие на современников и последующие поколения. Ломоносов с такой необычайной яркостью воплотил в себе лучшие черты своего народа, что для многих поколений стал живым воплощением неодолимого стремления к знаниям и культуре, к улучшению жизни людей. Эти черты — непреклонность в поиске и отстаивании истины, постоянное стремление связать науку с жизнью, поставить ее на службу человеку — стали впоследствии характерными чертами передовых деятелей русской науки и культуры. Если кому-нибудь в моих словах почудится не столько попытка передать близкий действительности образ Ломоносова как ученого и гражданина, сколько отзыв наших сегодняшних забот, то есть в какой-то мере модернизация, мне останется привести слова Владимира Ивановича Вернадского, сказанные еще в 1911 году. Ломоносов, писал он, «все время стоял за приложение науки к жизни, он искал в науке силы для улучшения поло-

жения человека. Наряду с философскими обобщениями его все время привлекало прикладное естествознание... Для Ломоносова это стремление приняло форму этических положений. Стремясь к истине, он в то же время верил в гуманитарное человеческое ее значение. Полный жизни и энергии, он сейчас же стремился воплотить эту свою веру в жизнь». Именно поэтому интерес к нему с десятилетиями не затухал, он разгорался, и притом не только среди ученых. Гений Ломоносова оставил неизгладимый след в сознании людей, даже тех, кто не вникал в тонкости его научных представлений, не знал многих деталей жизни и творчества этого человека.

Вы спросили, какую роль Ломоносов сыграл в моей жизни. Дело, конечно, не во мне, а в том, как конкретно продолжает преломляться его влияние. Конечно, поразному у разных людей. Я пришел к Ломоносову через Герцена. В тепер уже далекие студенческие годы, пораженный гениальностью и блеском «Писем об изучении природы», я задался целью проследить, насколько формирование взглядов Герцена было связано с теми идеями, которые раз-

вивались в естествознании России. И тут для меня стало ясно, что развитие естествознания в России в первой половине XIX века почти не изучено, что конкретных работ по этому периоду почти нет, и я начал читать подряд все, что печаталось русскими учеными в первой половине XIX века. И тут выяснилось много интересного.

Скажу только об одном. Почти сразу в работах того периода я стал наткаться на высказывания об идеях Ломоносова в области физики, химии, геологии и других естественных наук, специальные статьи о нем как естествоиспытателе. Это показалось поразительным. Ведь долгое время у нас бытовало мнение, что Ломоносов был широко известен как поэт, литератор, но как естествоиспытатель он якобы был не понят при жизни, а затем и вовсе забыт и открыт только в начале XX века. Эта точка зрения время от времени высказывается в литературе до сих пор, хотя уже и не так часто, как прежде. Сложившийся когда-то стереотип продолжал действовать. Между тем работы русских ученых первой половины XIX века свидетельствовали, что интерес к естествонаучным и философским идеям Ломоносова никогда не иссякал. Его идеи и открытия широко освещались и пропагандировались в первой половине XIX века, в том числе в учебниках. Русские ученые стремились опираться на работы Ломоносова в своих исследованиях. Подчеркивалось, что по многим вопросам он опередил мировую науку на 50 или даже почти на 100 лет. Все это произвело такое впечатление, что в 1950 году я изложил установленные факты в статье, и история науки в первой половине XIX века надолго приковала к себе мое внимание.

Теперь все очевиднее, что творчество Ломоносова, неся в себе яркие национальные черты, будучи порождено русскими условиями и русской культурой середины XVIII века, в то же время или, вернее, именно в силу этого, безусловно, не только часть истории науки и культуры России, но одновременно звено в развитии мировой научной и философской мысли.



«ГРАЖДАНИН МИРА РАЗМЫШЛЕНИЕМ»

Академик Ангел БАЛЕВСКИ,
президент Болгарской Академии наук

Кажбое человеческое деяние в первую очередь подлежит оценке с точки зрения нравственности. Труд ученого тоже подлежит такой оценке. Это мое глубокое убеждение. И, пожалуй, ни в одном из величайших естествоиспытателей мира, в их деяниях и помыслах, влиянии на последующие поколения ученых не сказывается столь сильно нравственное начало, как в Ломоносове. Его нежной душой поэта и мощным, бесстрашным разумом естествоиспытателя владела до полного самозабвения

лишь одна страсть — к познанию, лишь одно желание — принести пользу людям, Отечеству.

Еще с молодости я сравнивал Ломоносова с Леонардо да Винчи и испытывал чувство гордости, что я тоже славенин, как великий «архангельский мужик».

Как ученый, он сумел объять необъятное, он был гений. Подражать гению невозможно. Но оценивать прожитую тобой жизнь в науке той пользой, что ты принес людям, можно и должно. Меня, болгарского ученого, этому научил Ломоносов.

Молодым исследователям, особенно в социалистических странах,

сейчас непонятны те трудности, через которые шел в науку крестьянский сын Михайло Ломоносов. Я же отчасти, конечно, могу это понять. Я тоже сын крестьянина, родился в царской Болгарии, в горном сельском поселке. Народ у нас там особенный, недаром Балканские горы называют хранителем народного духа Болгарии. Как и у архангельских поморов, у моих земляков суровые условия тоже выработали твердый характер, трудолюбие и крепкое чувство товарищества.

Отец умер в 1915 году, когда мне не исполнилось и пяти лет. Помню мать, заплаканную, в черном вдовьем платке. В долгие зимние вечера я всегда видел ее склоненную над шитьем, она никогда не отдыхала.

Ручаюсь, что никто сейчас — ни у нас, в Советском Союзе, ни у нас, в Болгарии, — не знает, что такое «полица». Это долговой документ, по которому я больше пятнадцати лет выплачивал то, что задолжал во время учебы. Сам жил на гроши, почти голодал. Тогда я уже знал о Ломоносове, читал о его трудной жизни, когда учился в рабочей гимназии.

Потом для моей родины наступили тяжелые времена. Я пережил фашизм, боролся против не-

го. Кто видел свою родину униженной, особенно остро отзывался душой на патриотические чувства человека любой национальности, глубоко уважает их. Может, именно поэтому столь понятен мне, болгарину, патриотизм Ломоносова, который писал славную историю своей родины и своим пером, и своей жизнью.

По профессии я занимаюсь технологией металла. Работал инженером на заводе. После освобождения Болгарии в 1944 году жизнь свела меня с крупным болгарским физиком, академиком Наджаковым. Он-то и приобщил меня к науке. Тогда стране нужны были специалисты, и академик рекомендовал меня преподавателем на кафедре технологии металлов. Пожалуй, именно тогда я всерьез столкнулся с работами Ломоносова в области металлургии, в которой он так много сделал, именно тогда я всерьез задумался о жизни этого удивительного человека. В те годы однажды в библиотеке попала мне на глаза в каком-то труде о Ломоносове небольшая выписка из старой книги о нем, изданной в 1810 году: Муравьев «Заслуга Ломоносова в учености». Я переписал для себя эту цитату: «Преимущество, данное немногим умам, соединять склонность и

способность к прекрасным наукам с обширными сведениями в физических и математических, — сие преимущество имел в высокой степени наш славный соотечественник Ломоносов. Разум его, блестящий и основательный, не знал для себя пределов во владении знания. Сладость красноречия, пленяющее согласие стихов не были достаточны наполнить собою все пространство души его. Он был чувствителен более всего к прелести знания. Гражданин мира размышлением, он наслаждался рассматриванием великолепного его строения и посреди всех способностей, которые доставило себе проникновение человеческого разума, вопрошал природу о причине чудесных ее явлений с сим страстным восхищением, которое существует только для любителя мудрости».

Какие верные слова, хоть и сказаны более чем полтора столетия назад совсем неизвестным мне русским публицистом!

Я горжусь, что тоже стал как бы сопричастен памяти о Ломоносове: мне присуждена Золотая медаль его имени — высшая награда Академии наук СССР. Она вручается ежегодно одному советскому ученому и одному ученому другой страны за научные работы в

области механики и ее приложений. Среди них дважды лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг, знаменитый физик из ФРГ Рудольф Мессбауэр, венгерский математик Бела Сёкефальви-Надь, физико-химик из Югославии Павле Савич, чехословацкий механик и математик Ярослав Кожешник, англичанка, член Королевского общества известный биохимик Дороти Хаджкин. Это не просто крупные ученые, но люди, осознающие свой долг перед обществом, активные борцы за мир.

В наши дни приходится слышать о необходимости узкой специализации ученых. Мне кажется, это неверно. Настоящему ученому всегда близки глобальные проблемы науки, общества. И этому тоже нас учит Ломоносов. Я не случайно вспомнил о «полице» — долговом документе, по которому сам платил долги в царской Болгарии. «Полицы» теперь нет. Но долг ученого перед обществом, народом остался. И великий Ломоносов, родившийся 275 лет назад, «гражданин мира размышлением», для меня самый яркий пример ученого, осознающего свой долг перед своим народом, обществом, человечеством.

София — Москва.

ЖИЗНЬ— ПРЕКРАСНЫЙ ПОДВИГ

БИОГРАФИЯ
В ДОКУМЕНТАХ

1730 года, декабря 7 дня, отпущен Михайло Васильевич Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 731 года, а порукою по нем в платеже подушных денег Иван Банев расписался.

Запись в волостной книге Курострова.

Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны отец, никогда кроме меня детей не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны неслыханная бедность: имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, чем на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил.

М. В. Ломоносов.

...Не могу не заметить, что, по моему мнению, господин Ломоносов, довольно хорошо усвоивший себе теоретически и практически химию преимущественно металлургическую, а в особенности пробирное дело, равно как и маркшейдерское искусство, распознавание руд, рудных жил, земель, камней, солей и вод, способен основательно преподавать механику, в которой он, по отзыву знатоков, очень сведущ.

И.-Ф. Генкель. Письмо из Германии, где Ломоносов проходил обучение, в Петербургскую Академию наук. 23 сентября 1740 года.

Будучи еще в Германии, послал в Россию правила стихотворения, по которым и ныне все российские стихотворцы поступают с добрым успехом, и российская поэзия пришла в доброе состояние.

М. В. Ломоносов
«Отчет о завершенных и незавершенных научных и литературных работах».

...Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги. Его поэзия — начинающийся рассвет.

Н. В. Гоголь.

...В январе 1742 года, в мае 1743 года и затем в марте месяце текущего года я просил Канцелярию Академии озаботиться постройкой Химической лаборатории и приобретением всего необходимого для химической работы. Не получив желаемого, я вынужден по сей день заниматься только чтением химических книг да умозрением. Так как теперь я назначен профессором химии, то вы согласитесь, конечно, что моя обязанность высказать вам свое мнение о необходимости постройки Химической лаборатории и снабжения ее всеми приборами...

Представление Ломоносова в Академическое собрание, 25 октября 1745 года.

Позвольте, милостивый государь, передать Вашему сиятельству мой ответ господину Ломоносову о чрезвычайно деликатном в физике предмете; я никого не знаю, кто был бы в состоянии лучше разъяснить этот трудный предмет, чем этот гениальный человек, который своими позна-

ниями делает честь не только императорской Академии, но и всему народу.

Л. Эйлер. Письмо к К. Г. Разумовскому 13 августа 1748 года.

Желаю я, низжайший, к пользе и славе Российской империи завести фабрику делания изобретенных мною разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество ценою на многие тысячи.

Прошение Ломоносова в Сенат. Октябрь 1752 года.

Что же до других моих в физике и химии упражнений касается, чтобы их вовсе покинуть, то нет в том ни нужды, ни возможности. Всяк человек требует себе от трудов успокоения: для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостями или с домашними препровождения времени, картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом, от чего я уже давно отказался, за тем, что не нашел в них ничего, кроме скуки. И так уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собирание и на сочинение Российской истории и на украшение русского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их, вместо бильяру, употребить на Физические и Химические опыты, которые мне не только отменой материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют, и сверх сего пользу и честь отечеству конечно принести могут, едва ли меньше первой...

Письмо М. В. Ломоносова к И. И. Шувалову от 4 января 1753 года.

...Мне крайне понравилось то, что сказал (о причинах электрических явлений) в своей последней речи наш славнейший коллега Ломоносов... То, что мудрейший Ломоносов разъяснил относительно течения этой тонкой материи в облаках, должно оказать величайшую пользу тем, которые хотят приложить свои силы к решению этой задачи.

Леонард Эйлер. Письмо в Академию наук, 11 января 1754 года.

Другие европейские государства наполнены людьми учеными всякого звания, однако ни единому человеку не запрещено в университетах учиться, кто бы он ни был, и в университете там студент тот почтеннее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды. Здесь, в Российском государстве, ученых людей мало: дворянам для низкости и неимения рангов нет ободрения; в подушный оклад положенным запрещено в Академии учиться.

Записка М. В. Ломоносова о необходимости преобразования Академии наук, 1758—1759 годы.

Ломоносов был первым образователем нашего языка, первый открыл в нем изящность, силу и гармонию. Гений его советовался только сам с собою, угадывал, иногда ошибался, но во всех своих творениях оставил неизгладимую печать великих дарований. Он внес свое имя в книгу бессмертия...

Н. М. Карамзин
«Пантеон российских авторов», 1801 год.

О, если бы все труды, заботы, издержки и бесконечное множество людей, истребляемые и уничтожаемые свирепством войны, были обращены на пользу мирного научного мореплавания! Не только были бы уже открыты донныне неизвестные области обитаемого мира и соединенные со льдом берега у недоступных донныне полюсов, но могли бы быть, кажется, обнаружены неустанным усердием людей тайны самого дна морского. Насколько возросло бы наше благосостояние от обмена избыточествующих вещей между народами и настолько ярче заблестал бы свет наук после раскрытия новых тайников природы!

М. В. Ломоносов «Рассуждение о большей точности морского пути», 1759 год.

ПЕДАГОГ ПРОФИЛИ

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

В Ашхабад приезжает бывший журналист-международник Ростислав Знаменский, отозванный из-за границы за недостойное поведение. Здесь судьба сводит его с бывшим следователем по особо важным делам Аширом Атаевым, уволенным с работы по ложному обвинению. Атаев организует Знаменскому поездку с представителем Госкомитета по иностранному туризму в Красноводск и Кара-Калу, чтобы Ростислав воспользовался ею для сбора сведений о посевах опийного мака. Сам он поехать не может: торговцы наркотиками, которых он пытается разоблачить, не спускают с него глаз. В поездке Ростислав знакомится с приятелем Атаева Мереем, рассказывающим ему об истоках наркомании в этом регионе.

— Какой Ашир?— Вся наука, все навыки, вся осторожность, весь этот набор предупредительных в себе сигналов, все сейчас вспомнилось и зазвенело в Знаменском, упреждая, остерегая, призывая к осмотрительности, осторожности, лукавству, умолчанию,— чего там еще?— словом, всему тому, без чего твоя работа за границей, даже если ты вовсе не дипломат, а журналист, не стоит и гроша. Но разве тут была граница? Разве этот славный малый, весело сейчас его рассматривающий, иностранец? Нет, не граница, но пограничная зона, заступив которую можно погубить Ашира Атаева, одним неосторожным словом можно погубить, поскольку этот Ашир Атаев начал, похоже, бой с нешуточным противником.— Какой Ашир, дорогой?— Знаменский с недоумением ответно уставился на Мерееда.

— Хорошо ответил!— похвалил его Мереда.— Хорошо глядишь! Притворяешься хорошо. Ну, ладно, как будем уезжать, передам тебе на вокзале письмо для Ашира. Он звонил мне. Из Кара-Калы вы поедете поездом, вот там, на вокзале, и дам тебе письмо.

— Не пойму, о чем ты толкуешь, дорогой Мереда?— сказал Знаменский.— Мне никто никаких поручений не давал, никаких писем брать мне не поручено. Ты не спутал чего-нибудь?

— Правильно, правильно отвечаешь!— Мереда просто любовался Знаменским.— Письмо я тебе все-таки передам, а ты уж сам решай, куда его деть. Не доверяешь мне? Молодец! Хотя обидно, конечно. Неужели я похож на прокуратора?

— Ты похож на очень славного парня, Мереда. Но...

— Правильно, правильно отвечаешь. Немного приподними завесу... Чтобы ты хоть чуть-чуть поверил мне... Доверие нужно даже не нам с тобой, а этой шурпе. Ее нельзя хлебать за одним столом, не доверяя друг другу. В старину враги не садились за один стол, а если садились, не притрагивались к еде, боялись отравы. Недоверие— это отравка.

— Я верю, тебе, Мереда, но... Действительно, хорош супчик.— Знаменский, обжигаясь, начал есть.— Ну и горяч!

— Чурек бери. Шурпа медленно остывает, жир мешает. Ее надо с хлебом есть и не спеша глотать. Так вот, наш Ашир собирает сведения, где у нас по Туркмении высаживается мак. Он, понимаешь, карту маковых посевов решил нарисовать. Совсем агрономом стал, когда из прокуратуры прогнали. Ну, а я кое в чем ему тут помогаю. У меня много друзей, во всех наших городах и селениях можно найти моих друзей. Один видел где-то маковое поле, другой видел где-то. Кто в предгорьях, кто в горах, кто где. Возле канала клочок поля, возле кыриза клочок поля— там, тут, тут, там. Карта зачем нужна? Один клочок— пустяк. Пять, десять клочков— пустяк. У нас веками высаживают мак. Пороки не нами сегодня выдуманы. У нас старики и про бел знают, бел— это гашиш. Высевают коноплю, черти, накуриваются до одури. Старики! Месяцами только овцы вокруг! Одиночество, мзканье одно вокруг. А покурил, и гурии к тебе сбегаются. Что желаете, ага?— вопрошают. Мы можем омыть ваши ноги, уместить ваши плечи, мы можем... Есть еще нас... Нас! Скверная штука. Чего там не понамышано. Белая махорка и даже негашеная известь. Суют под язык. Пробирает до пота! Бьет по мозгам! Имеешь возможность попробовать, на каждом нашем базаре продают. Зелененький такой порошок. От зубной боли очень помогает. Наши аксакалы к зубному врачу ни за что не пойдут. На аркане не заставишь. Хуже шайтана для них зубодер. Как позволить, чтобы кто-то залезал тебе в рот, чтобы отнимал частицу тела твоего? Никогда! Но зубы-то болят у старого человека. И тут помогает нас. Мы его не запрещаем. Да беззубому старику разве что запретить? Он гораздо ближе к аллаху, чем к районному отделению милиции. Ну, как моя лекция?

— Занятно. Нет, я эту известку попробовать не стану. Мне довольно и шурпы. Весь рот сжег.

— Не спеши, шурпа— медленная еда. А есть еще у нас тирек. Вот он-то и добывается из мака. Из молочка, которое вытекает, когда нарежешь маковую головку, когда еще не вызрел мак, не почернел. Да, тирек... Огий, короче говоря. Опиум! Тоже не новость в наших краях. Из Китая, так думаю, к нам пришел этот сизый дымок. Много веков назад пришел. Тирек... А тех, кто к нему пристрастился,— а он прилипчив, только начини, он тебя не отпустит, ни на миг не отпустит— тех у нас тирекешами зовут. Еще встретишь таких. Где-нибудь на базаре, возле базара. Они там подпирают спинами дувалы. Щеки впали, глаза блуждают, руки-ноги не слушаются. Это не пьяницы. Ешь, ешь шурпу. Остынет! Не чал, врут про чал, шурпа все снимет! Нет, это не пьяницы. И им не до веселья. Это живые покойники. Но что-то они там в своем полуза-

гробном мире находят для себя. Видения их посещают. Накурились или нажевались— вот и жизнь. Другая для них уже невозможна. А тирек очень дорог. Он строго запрещен у нас. Его можно достать только из-под полы. И дорого надо платить. Вообще дорого. Сперва все деньги отдай, какие есть, все вещи спусти, какие есть, а потом и жизнь заплатить придется. Вот, дорогой, если коротко, что такое лоскуток земли с зацветающим маком.

— Но если это у вас с незапамятных времен, так чего же вы горячку порете?— сказал Знаменский.— Зачем какие-то вам карты вдруг понадобились?

— С незапамятных времен, ты прав, дорогой. Но эти лоскуты под маком то исчезают, то появляются, то их совсем мало становится, то вдруг много. Приливы и отливы. В чем тут дело? Я объяснить не берусь, у меня семилетка и курсы киномехаников. И вот, понимаешь, вдруг этих маковых лоскутов у нас сильно прибавилось. Вдруг! Ашир говорит, что столько нам, для наших стариков, для наших несчастных тирекешов не нужно. Ашир считает, что наш тирек стали вывозить. К вам, в Россию! Спрос появился. Модал! Так считает Ашир. А он неглупый человек, поверь. И ему теперь важно узнать, кто заставляет столько сеять мака. Кто? И кто вывозит? Кто? Вот для этого и нужна Аширу карта. Велеть подавать плов, дорогой? Без плова нет обеда.

— Так мы же всего лишь завтракаем.
— Разговор трудный вышел. После такого разговора нужен плов, чтобы подкрепиться. И больше мы к этому разговору не вернемся, дорогой. Сейчас спустится к нам твой старик, который станет после сна огурчиком, и мы начнем нашу программу. Вы зачем прилетели? Вы прилетели, чтобы осмотреть все перспективно-курортные места в нашей области. Это сегодня тут жарко и пыльно. Но ведь у нас есть море. И к нам тянут воду Амударьи. А знаешь ли, что она уже в ста километрах, нет, в шестидесяти от Красноводска? Мы увидим эти благословенные трубы, когда полетим в Кара-Калу. Я добыл для вас вертолет. Посланный будет доволен. Мы будем низко лететь, совсем низко, почти касаясь верблюжьих горбов. И мы увидим эти трубы, по которым вернется сюда вода Амударьи. Когда-то, совсем недавно, ну, пять, ну, семь столетий назад, здесь была вода, плодороднейшие поливные земли. Река ушла, ушла жизнь. Теперь она возвращается, наша Аму! Ты представляешь, в какое историческое время мы с тобой живем?! Плов! Вот несут плов! Милые, прекрасные руки ставят нам на стол блюдо плова! Спасибо, женщина! Спасибо, дорогая!

Мелькнули полные руки, проплыли, удаляясь, полные бедра, а на столе заблагоухал плов.

— Даже смотреть на женщин я не могу, дорогой,— сказал Мереда.— Кто я? Муж секретаря обкома! Вмиг донесут.

— А почему бы не подключить к этой карте твою жену?— спросил Знаменский.— Все-таки секретарь обкома.

— Разве я тебе сказал, что речь идет о нашей области?— насторожился Мереда.— Я назвал тебе нашу область?

— Нет, не назвал.

— Мне пишут со всех концов— вот что я говорил. Там— тут, там— тут, а где именно— я не говорил.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 39—45.



— Не говорил, успокойся. Но все-таки секретарь обкома.

— Ну и что? Она же не первый, а третий секретарь. Она после первого и второго должна голос подавать. И она женщина. Конечно, дома, когда муж — бывший киномеханик, конечно, тут можно... Нет, дорогой, я несчастнейший человек на свете! И ешь, ешь, хватит разговаривать. Плов надо есть горячим.

18

Отобедав, они пошли будить посланника, для которого Меред прихватил со стола целый поднос всякой всячины: тарелку плова, навалом винограда, только что выпеченный чурек. Нес он и большой чайник с чаем, с гок-чаем, светленьким, совсем горьковатым напитком, который, оказывается, тоже все снимал.

Высоко и умело неся поднос над головой, невысокий, кругловатый, быстрый в своем коротком, плавном шаге, шел по гостиничным лестницам, а потом по коридору Меред, веселый и в походке своей, ловкий какой-то. Он был одет наипростейше: рубаша, штаны, сандалеты. Но очень ладно сидела на нем эта одежда, служила, не выпячиваясь, и он не казался бедно одетым. Как ему было удобно, так и оделся. Случится той — не будет трястись над своими брюками, страшась посадить на них жирное пятно. Случись срочная куда-то командировка — в зной, в пустыню, на нефтевышку или к чабанам, — и он опять же готов ехать в грузовике по пыльной дороге или даже на спине верблюда очутиться, а то и на спине ишака. Он был заряжен на любое дело, готовый и к столу, и к дороге, к мгновенности перемен. И хотя был он, как отрекомендовался, заведующим всей культурой города-порта Красноводска, он продолжал оставаться все тем же сельским киномехаником, киноочевником, младшим братом и унаследователем веселого и лукавого Ходжи Насреддина. Можно было понять, глядя на него, за что приглянулся он некоей строгой, но, конечно же, очень красивой девушке.

С этим подносом явились они пред очи посланника. Похоже, вздремнуть ему не удалось, глаза его устало и неодобрительно рассматривали молодых, здоровых людей, у которых какие-то там были трудности и проблемы, неудачи даже и беды, хотя никаких не было у них проблем и бед, раз они молодые и здоровы. Главное — здоровы! А они этого не понимали. Еще поймут! Не минует!

Самохин сидел за маленьким письменным столом, тяжело упершись в него локтями. Он ничего не писал и ничего не читал. Он выбрал это место в комнате, потому что оно, пожалуй, было единственным местом, где бы не висели или не лежали ковры. В такую жару — ковры! Но ведь это был люкс, гостиница областного центра, славящегося ковроделием. Даже кровать была застлана ковром, покрывалом. И пол был устлан коврами. Полупустой графин с чаем стоял на письменном столе перед Самохиным.

— Спиваюсь вот, — сказал он.

— Правда, помогает? — радостно спросил Меред.

— Живой пока.

— Без веры пили или с верой?

— С верой, с верой, — вяло сказал Самохин. — Что, пришли по мою душу? Куда-то надо ехать? Что-то надо смотреть? Ох, старый дурень! Как это я дал себя уговорить на эту поездку? Он не гипнотизер, этот ваш Ашир, Ростислав Юрьевич?

— Ашир Атаев? Это он вас уговорил лететь к нам? — спросил Меред, очень заинтересовавшись.

— Он, он. Сказочник какой-то. Напел невесту что про ваш чал. Ну, пью. Ну, мутная какая-то жидкость. А дышать-то у вас нечем.

— Ашир вам правду говорил про чал, — сказал Меред, старательно прижмуривая глаза, отчего залукавилось его круглое лицо, совсем Насреддином стал. — Но с верой, с верой надо вкушать этот напиток. Без веры вообще ничего нельзя достигнуть. Даже комара нельзя убить, не веря, что попадешь в него. Подкрепитесь, прошу, и поехали. Нас ждут на ТЭЦ. Это во-первых. Поглядим на опреснители. Морская вода входит, пресная вода выходит. Потом...

— ТЭЦ? Но это же жара в жару! Там же топки!— На Самохина было тяжело смотреть, так он испугался.— Зачем туристам ТЭЦ?

— Хорошо, подкрепитесь немножко, и покатим в музей. Второй пункт нашей программы. Музей— это для туристов?

— С кондиционерами, надеюсь?— спросил Самохин, вяло отломив от чурека, вяло принявшись жевать.

— Правду скажу, не помню.— Лицо Мереди перестало лукавиться, могло оно быть и серьезным, и даже печальным, оказывается.— У нас очень серьезный музей. Не помню...

И вот они в пути, «Волга» кружит, часто сворачивая, по нешироким, все больше на сход к морю, улочкам, скучноватым, если правду-то сказать, где редки вязы-карагачи, но они хоть в силе, а деревья помоложе так искали от безводья, жары и знойного ветра, что даже их собственная тень от них сбегала.

И вот они въехали на маленькую, круглую совсем площадь, просто площадку с единственным могучим вязом у обочины и с домом одноэтажным, приземистым, хмурым, стародавней постройки. Это и был здешний музей.

У карагача, в его тени, сидел молодежавый старик в черном высоком тельпеке, в красном стеганом халате, и ему не было жарко. Он гордо сидел, зорко поглядывая, сухой был. Он чем-то торговал тут, в мешке у его ног какие-то зернышки зеленели-желтели, в них был утоплен стакан.

Не в дом этот унылый захотелось идти Знаменскому, а к старику величавому подойти. Он так и сделал, пошел от машины к продавцу, как оказалось, фисташек, чтобы поближе разглядеть столь неподвластного зною человека, с таким гордым, даже загадочным лицом, такого невозмутимого. Вот он-то и был истинным хозяином этой суровой земли. Вдруг старик пошевелил коричневыми губами, проговорил нечто невероятное:

— Ты Знаменский?.. Ашира знаешь?..— Старик подождал, когда Знаменский кивнет ему, и тот оторопело кивнул.

— Иди, куда пришел, я тебя подожду... Подойдешь потом, купишь фисташки... Иди!..— Старик закрыл глаза, отгораживаясь от вопросов.

Знаменский подчинился, повернулся и пошел к музею, от дверей которого ему махал нетерпеливо Меред. Один велел идти, другой велит спешить... И в каждом из этих велящих был Ашир Атаев. Оторопело пересек Знаменский изнывавшую от жары площадку, на которой ближе к хмурому дому были воздвигнуты на постаментах из оплавленного солнцем песчаника чьи-то бюсты. Знаменский взгляделся, сложил посеченные ветрами буквы. Это были памятники Шаумяну, Фиолетову, Азизбекову, Джапаридзе. Так вот что это был за музей! Это были четверо из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных в восемнадцатом году где-то здесь поблизости английскими интервентами. Солнце плавало, не плава, склоняясь к морю, эти прямо в тебя смотрящие глаза, твердо сжатые губы. Как велик бывает скульптор, который самые простенькие подделки рук человеческих, призвав к работе солнце и ветер, время и память, превращает в величественные творения, в памятники, глянув на которые у человека сжимается сердце.

С сжавшимся сердцем вошел в дом Знаменский.

Экскурсовод уже начала рассказ. Это была пожилая женщина, в темном не по-летнему платье, отдаленно и близко похожая на Надежду Константиновну Крупскую, какой она запомнилась по фотографиям уже без Ленина. Совсем другая, конечно, женщина, не то совсем лицо, но из той поры.

— Мы с вами, товарищи, находимся в бывшем арестном доме,— говорила экскурсовод.— Сюда-то и заточили двадцать шесть бакинских комиссаров, когда утром 17 сентября восемнадцатого года пароход «Туркмен» встал на рейде Красноводска и был захвачен англичанами. Товарищи, прошу вас, не останавливайтесь пока у этого макета...— Экскурсовод окликала Знаменского, который, войдя, сразу натолкнулся на макет в вестибюле, воспроизводящий в объеме и в деталях расстрел двадцати шести — в песках, в пустыне, где-то рядом, поблизости от этого макета...— Мы еще

вернемся, товарищи, к тем мгновениям. А пока...

Экскурсовод направилась в зал, и Самохин и Меред пошли за ней, но Знаменский не мог отойти от макета, очень тщательно исполненного, старательно повторявшего картину И. И. Бродского, о чем уведомляла выстуканная на машинке подпись. Но нет, живопись тут исчезла, сюда пришло иное. Сюда пришла истина. Так было. Вот так вот именно страшно все там и происходило, где-то совсем рядом, в песках, неподалеку. Такой же воздух овеял этот макет, что и тогда, там. Такие же песчинки сюда залетали. И такой же зной тут царил. Расстреливаемые, в которых уже нацелились стволы, стояли со вскинутыми руками, будто они вышли на митинг, обращались к народу. Они угадали, так встав перед смертью. Они так встали перед Памятью. А эти, стрелявшие, и эти, сбоку стоявшие предатели,— офицеры, штатские, батышка в шляпе, отвернувшиеся от убиваемых,— а эти тоже застыли перед Памятью. И Память сейчас казнила их, а не тех, кого тогда убили. Не нужны были залы, никаких больше не нужно было залов. Этот арестный дом, приземистая могила, и этот макет — Память — вот и весь музей.

Знаменский повернулся и вышел на улицу. Он продрог в музее и впервые в Туркмении обрадовался беспощадному солнцу, чуть лишь его согревшему. Он снова пересек площадку, прощаясь, взгляделся в молодые — а ведь молодые совсем! — лица. Им, этим легендарным большевикам, действительно легендарным и прекрасным в своем мужестве, в своей вере, прежде всего вере, было даже меньше лет, чем ему, они были моложе. А кто он? Закатное солнце резко высветило высеченные резцом и ветром лица, на них невозможно было смотреть, обжигало глаза. А кто он?

Знаменский подошел к старику, торгующему фисташками. Помаргивая, взглянул на него, страшась, что и тут жаром обдаст глаза. Нет, прошло, мир встал на свое место, величественный старик даже слегка улыбнулся ему неумело, его тонкие коричневые губы не знали улыбочивого уклада.

— Кулек тебе приготовил,— сказал старик, извлекая из мешка сверток.— Фисташки... Отдашь Аширу... Сам не разворачивай... Ему подарок... Спрячь...

Знаменский взял сверток, который был не кулком, а пакетом, быстро сунул, оглянувшись, в задний брючный карман.

— Не потеряй.— Старик, остерегая, поднял сухой, коричневый палец, погрозил им.

— Не потеряю...— Знаменский пошел от старика, но тот его остановил:

— Рубль отдай!

Знаменский вернулся, извлек из кармана смятую и влажную бумажку, протянул старику. У того насмешливые искорки промелькнули в глазах. Совсем как у Ашира были глаза.

— Люди смотрят,— сказал старик.— Что за продавец, которому деньги не отдают?! Иди!..

Знаменский повернулся и пошел. Не к музею, а по крутой улочке стал спускаться, идя на солнце, которое все ближе принакало к морю, к этому странному тут, беспрохладному морю, такому издали заманчиво-синему.

19

Вскоре из музея вышли Самохин и Меред. О чем-то они спорили. Меред настаивал, Самохин отказывался, решительно отмахиваясь. Увидев Знаменского, он торопливо пошел к нему, отмахнувшись и от подкатившей «Волги».

На крутой улочке, высоко взбежавшей, откуда широко был виден город, вжавшийся в скалы и прильнувший к морю, они сошлись, два чужестранца здесь, молча стали оглядываться, отыскивая между домами промельки близкой пустыни, тех самых барханов, которые так тщательно были повторены на музейном макете.

— Меня поразили этот музей,— сказал Самохин.— И вас, вижу?

Знаменский кивнул.

— Восемнадцатый год...— Самохин удрученно всматривался в близкую даль, в побежавшие за окраинными домами гребешки барханов.— Шестьдесят семь лет прошло с тех пор... А допусти их сюда, ведь опять начнут расстреливать. Ничуть не поумнели. Мало

им, все им мало. Война продолжается, Ростислав Юрьевич, я так считаю, она и не прерывалась.

— Пожалуй.

— Только хитрее сделалась. А какие люди начинали нашу революцию, какие люди! Жаль, вы не видели их фотографий. Какие лица! Ясные! Честные! Окрыленные! Мы многого достигли, во многом победили, это так, тут спора нет. Но... в чем-то мы и потеряли, по ходу боя, так сказать... Приобыкли, что ли?.. Когда долго идет война, когда телами в драке сшибаешься, бывает, что и друг у друга враги что-то перенимают. Можно так сказать, их роднит вражда. Парадокс, но это именно так. Поняли меня?

— Это вы обо мне?

— Да что вы?! Вообще рассуждаю. А если близко взглянуть, так и о себе. Разве я не приобык по границам-то? Разве я не понабрался там чужого? Разве я тот, все тот же Санька Самохин, каким начинал в Москве? Классический пролетарий был. Все ступеньки прошел, придя из деревни, всю науку великую рабочего класса. Стране нужны были рабочие, я выучился, стал токарем на «Динамо». Стране нужны были солдаты, я вступил в июле сорок первого в московское ополчение, а потом курсы кончил офицерские, а потом всю войну то на фронте, то в госпитале, то на фронте, то в госпитале. А потом, уже тридцатилетним, в институт иностранных языков подался. Вокруг девчонки. Стариком меня считали. Но я учился, вдалбливая в себя английский. Я так рассудил, что раз уж уцелел, кому, как не мне, бывшему солдату, отстаивать наши интересы за мирными столами переговоров. Вон как тогда занесло! И что же, стал дипломатом. Покатил Санька Самохин в дальние страны. К столам переговоров не сразу вдруг подсел, но все-таки... Сбылась мечта? Так?.. Что ж, достиг многого, если со стороны взглянуть. Но... и потерял, потерял... Измельчился... Истаскался... Расслабился... Банкетным недугом занедужил... Нефрит, а он у меня есть, наличествует в полном объеме,— это ведь, Ростислав Юрьевич, именно банкетный недуг. И сколько еще в нас с вами разных недугов, если взглядеться. Понабрались в ближнем бою. Опасная это штука — ближний бой. Вы-то теперь выглядываетесь? Изучаю вас, похоже, что выглядываетесь. Не унывайте, у вас еще вся жизнь впереди. Даете слово, что не будете унывать?

— Вам это важно, Александр Григорьевич?

— Важно! Вы мне симпатичны.

— Постараюсь. Но кто я теперь? Хуже, чем с нуля начинаю.

— У вас есть время. Я бы...

Подкатила «Волга», Меред выскочил из машины, вскинутыми руками призывая пускаться в путь.

— Программа, программа, уважаемые гости!— Меред всмотрелся в их лица, понял, что о серьезном шел разговор, поубавил напора в голосе.— Я понимаю, после такого музея походить бы, подумать бы, но... программа! Мы ведь с вами вроде туристов. Будущих!

— От ТЭЦ я все-таки отбился, а теперь куда?— уныло спросил Самохин, садясь в машину.

— На старейшее предприятие города, на наш прославленный рыбный комбинат!— Меред плотоядно сверкнул зубами.— Каспий хоть и обмелел, но еще дарит нам свои деликатесы! Нас ждут там вобла — и какая! — и пиво! Я весь высох, честно скажу.

— Это что же, копченая рыба?!— ужаснулся Самохин.— Ни за что!

— Ах, забыл, дорогой!— Меред сокрушенно ударил себя кулаком в грудь, но другой рукой быстренько захлопнул за Знаменским дверцу и подтолкнул водителя, чтобы ехал.

«Волга» покатила, развернувшись, снова миновала крошечную площадь, на которой стояли четыре монумента, а под вязом все еще сидел старик в высоком черном тельпеке, горделивый и загадочный.

— Ни за что!— повторил Самохин.— Даже запах копильни я не переношу! За версту обхожу!

— А как же будущие туристы?— печально спросил Меред, чувствуя, что вобла и пиво ускользают от него.

— Вот они и поедут с вами. А я верю вам на слово. Куда нам еще?

— Тогда к морю. В наш знаменитый пансион



А. Пластов. 1893—1972. УЖИН ТРАКТОРИСТОВ. 1951.

Государственная Третьяковская галерея.



П. Кончаловский. 1876—1956. ПОРТРЕТ Н. П. КОНЧАЛОВСКОЙ. 1925.

Государственная Третьяковская галерея.

нат, в зону отдыха ТЭЦ. Там один старик, между прочим, армянин, чудо сотворил. Пункт четвертый нашей программы. Между прочим, там ждет вас свежий чал.

— Поехали в пункт четвертый! — решительно распорядился Самохин.

— Исккупаться хоть можно будет? — спросил Знаменский.

— Чудесный пляж! Говорю, чудо! Розари! Виноградники! Не исключены гурии-мурии!

— Никаких гурий! — строго сказал Самохин. — Никаких мурий! И куда смотрит ваша жена, Меред? Мы к морю катим? — строго глянул он на водителя, вислоусого пожилого украинца, подчеркнuto обрядившегося в вышитую украинскую сорочку без воротника. Был этот водитель молчалив и важен, поскольку вон куда занесла его судьба, в какую даль.

— Побачите, — меланхолично молвил водитель.

Быстро отмелькали за стеклами машины низкорослые, вровень с дувалами дома, редкими окнами глядевшие на улицу. Вся жизнь — там, во дворе, где, возможно, виноградники, фруктовые деревья и даже фонтанчики притаились и где близко перед глазами море, а обернись — скалы. Там жили люди, которым этот город не мимолетность, а вся их жизнь на земле. Где-то был дом Мереди, где-то был дом этого молчаливого украинца. Тут радовались, печалились, тут по-всякому у них было, у людей, живущих на этой очень суровой земле. Но жили, не сбегали отсюда. Что удерживает человека на такой земле? Привычка? Невозможность поменять судьбу? А рядом пустыня, бескрайние пески. Что все-таки удерживало тут людей? Не эта ли суровость и удерживала? Ведь человек — загадка. Ему не всегда сладкое нужно для жизни. А тут вот мечтой жили. Мечтали о воде, которая все преобразит, сделав эту землю сказочным оазисом. А тут гордились своим Седым Каспием, который, хоть и обмелел, был щедрым все еще на рыбу. А тут традиции революционных жили, этот музей стоял, возвышались монументы прекрасных людей. И вода вроде бы уже подходит к городу. Та самая Амударья, которая сбегала, поменяв русло, с этой земли давным-давно, несколько столетий назад, ныне вот возвращалась. По трубам ее вели к Красноводску, совсем рядом эти трубы. Что-то еще будет тут, когда грянет вода? Скучный городок, хмурый, но затаилась в нем надежда. И тут тихо, гона нет, а за дувалами, если заглянуть, как заглянул он во двор Дим Димыча, может открыться глазам чуть ли не райская картина. Мелькали домики Красноводска, а в глазах встал тот домик, где он теперь жил. Еще недавно не поверил бы, что сможет жить в такой халупе. Смог. И даже потянуло туда, в те стены, к тем голосам, к тем людям. Светлана вспомнилась, ее мальчик, этот Дим Димыч хлопотливый, и потеплело на душе.

Машина выскользнула из города, покатила по удручающе безрадостной дороге, где лента асфальта с множеством заплат из щебенки пролегла по земле, давно превращенной в припортовую свалку. Ржавые трубы, побитые бетонные плиты, кабельные катушки, искореженное железо... И глаза начинали радоваться близким и бесплодным барханам, открывать там и красу, и жизнь, когда сравнивали пустыню с этой освоенной и поруганной людьми прибрежной полосой.

— Дорога не для туристов, — сказал Самохин. — Куда вы нас везете, Меред?

— А вы посмотрите на эти трубы, вон на эту ниточку из труб, которая тянется вдоль дороги. — Меред опустил стекло, высунул руку, протянул, будто хотел погладить эту ниточку из перепятанных мазутом, явно старых обсадных труб, добытых где-то на нефтяных вышках, где отслужили свой срок и теперь вот зачем-то соединены в эту самую ниточку. — Вы смотрите, смотрите на эти трубы, не выпускайте из глаз. Клянусь землей своих предков, Александр Григорьевич, что вы, если только я еще немножко вам поклянусь и если наш Петро не будет тащиться со скоростью старой черепахи, которую даже шакал не станет есть, то мы, клянусь вам!.. Э, вот теперь смотрите!

Машина свернула, соскользнула с дороги, миновала обширную лужу заржавленной воды и вдруг вкатилась в сад. Благоухание роз встретило их, здесь всюду росли розы. Это

сперва. А сразу за розами стеной стояли гранатовые деревья, в ветвях которых еще не рдели, а лишь розовели елочными шарами гранаты. Зато яблоневые деревья, вставшие рядом с гранатовыми, рдели. И на земле было полно яблок, они лежали в живой траве. Эта живая трава была самым невероятным здесь чудом. Нет, и еще что-то таилось, как чудо. Солнце шло на закат, оранжевый, в пепельной дымке круг низко опустился к земле. И там, где плыл этот круг, стояла густая, на глаз прохладная синева. Это было море. Но и это еще не главным тут было чудом. В лицо ударил дух морской, прохлада морская коснулась их, всех обласкав, как счастьем. Вот что было тут главным чудом. Каспий дарил им свою прохладу.

Машина подкатила к легкому домику, от которого было до моря с десятков шагов. Влажный песочек увиделся, на который накачивались белые, радостные гребешки. А за ними — синь!

Знаменский выскочил из машины, кинулся к морю. На бегу стянул с себя рубаху, присев, упав на влажный песок, стянул джинсы, разувшись, дыша этим горьким, влажным морским духом, а потом, выпрямившись, с замирающим сердцем шагнул в море. Здесь было сразу глубоко. Он поплыл. И заплакал.

20

Он плыл недолго. На берег шла крутая волна. Его подбрасывало, белые гребешки превратились в пенистые, страшноватые стены. И мешали слезы. Откуда? Он никогда не плакал, разве что в детстве, но и о детских своих слезах забыл. Так жизнь катилась, что слезы в ней не требовались. Даже тогда, недавно, когда все сразу развалилось, когда и пугали, и позорили, и стыдили, и когда было и страшно, и стыдно, сухими оставались глаза. Так и должно, если ты мужчина. Да при чем тут это? Он просто не умел плакать, никогда раньше не высекала жизнь в нем слезы, не звала к ним. И вдруг здесь, вдруг выбрызнулись... Допекла жара! Волны захлестывали лицо, и уже не понять было, все ли еще он плачет. Но стыдно было перед самим собой и еще как-то странно было, будто эти слезы чем-то и одарили, принесли облегчение. Нельзя жить, сжавшись, а он так теперь жил, все время помня, что с ним стряслось, — ни на миг не высвобождала его память. Сейчас он разжался, будто сдался самому себе, — вот что это были за слезы.

Он повернулся, выждал накатывающуюся белым гребнем волну, уступил себя ей, и волна подкатила его к самому пляжу и отхлынула, кинула на песок. Он поднялся, пошатываясь, побрел к своей одежде, вспомнил про пакет для Ашира и испугался, что так небрежно бросил его. Но вокруг не было ни души. Вдалеке, в виноградных рядах, важно вышагивал Самохин, сопровождаемый рослым и тучным, белокудрым стариком. Там с ними был и Меред. А пляж был безлюден. Ни от кого не надо было прятать глаз. Он присел на песок, обсыхая.

А потом был снова обильный стол, шурпа и плов, но и чал, и творог для Самохина, стол ломился от дынь, винограда, плодов и овощей, выращенных здесь этим вот стариком армянином, были речи, тосты, много говорилось о будущем здешних мест, которые, чуть ороси их, вон каким райским уголкем могут обернуться. Бросовая, по сути, опресненная морская вода, которая пришла сюда от ТЭЦ по ниточке бросовых же труб, а какое чудо она сотворила. Славили, конечно, и старого чудодея, сегоголового армянина, скромно сидевшего с края стола, скромно прижимавшего свои мудрые глаза. Выпил даже чуть-чуть и Самохин, тоже невеселый, хмуроватый, отрешенный. Ему бы тоже всплакнуть, полегало бы. Но с чего ему плакать? У него все было в полном порядке. Разве что смертельный недуг им властвовал.

А потом той же дорогой назад. Уже поздний вечер был, когда они вернулись в свою красноводскую гостиницу, разошлись, простившись с Мередом до утра, а рано утром предстояло им лететь на вертолете в Кара-Калу.

— Пробил для вас вертолет, дело не шуточное! — похвастал Меред. — А как же, и гости не шуточные! Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посланник по делам международного туризма!..

Войдя в свой номер, Знаменский обнаружил большой пакет из плотного целлофана, до краев набитый золотистой копченой рыбой, отборными, тучнобрюхими лещами. Это явно был дар рыбокомбината, запланированный дар, хоть гости и не явились.

В номере было невероятно душно. И еще этот запах рыбы, горячий запах и назойливый, если ты сыт сверх всякой меры. Знаменский засунул пакет в холодильник и пошел принимать душ. Но вода из кранов не потекла. Никакая — ни горячая, ни холодная. В ванной комнате стояли два ведра с водой — паек на номер люкс. Был тут и коврик, плавал в одном из ведер, приглашая им воспользоваться. Знаменский зачерпнул воды, вдруг ощутив себя скупцом. Он только вымыл руки и ополоснул лицо.

В дверь кто-то постучал. Меред вернулся? Знаменский отворил. На пороге возник Самохин, в пижаме, с несчастным лицом. В вытянутых руках он брезгливо нес пакет с копчеными лещами.

— Умоляю, заберите у меня это! — чуть не плача, сказал Самохин. — Выбрасывать подарок не посчитал возможным, а держать в номере просто невыносимо.

— И у меня такой же. — Знаменский взял у старика сверток, стал записывать в холодильник. — Разве у вас нет холодильника в номере?

— Там у меня лекарства, от этой рыбки они бы все провоняли. Можно, я у вас посижу немного? Спать еще рано, да и не усну.

— Прошу вас, Александр Григорьевич. И я не думаю, что легко усну.

— Музей в глазах? — Самохин прошел в комнату, где такой же, как и у него, крошечный стоял письменный стол и где такие же повсюду висели и выстилались ковры. Он огляделся затравленно и подсел к письменному столику, единственной не шершавой и не жаркой тут поверхности. — Эх, чал забыл! Привыкать начинаю к этой мутной жидкости. Самовнушаюсь.

— Принести?

— Не нужно, благодарю. Я ненадолго к вам. Да, музей... А какая земля, страна какая! Тут все строго на тебя глядит. Не почувствовали? А ну, что за человек, каков? Не почувствовали? А знаете почему?

— Нет.

— Приграничная полоса. И дело не в границе государственной как таковой. Дело в том, что места эти всегда были полем боя, полем чьих-то вождельных интересов. Нефть! Недаром сюда кинулись англичане. О, эти знают, где добывается золото! Природные загателатели чужого! В четырехстах километрах отсюда Иран. А там, лишь чуть подальше от нас, идет война Ирана с Ираком. Религиозная война, бессмысленная по сути. И никакое, знаете ли, двадцатого века. А море какое! Вы искупались, посмели. Я вам страшно позавидовал! Седой Каспий, опасная стихия. А вы нырнули, поплыли. Я даже испугался за вас. Нет, все обошлось. Но вы вернулись какой-то другой. Устрашились все-таки? Заглянули в пучину? Ничего, дружок, я понимаю, вам худо, даже очень худо, но это все-таки не нефрит... запущенный до упора... — Самохин замолчал, побарабанил громко пальцами по поверхности стола, принялся, любя ненавистный копченый запах, поднимаясь. — Пойду. На улицу, что ли, выйти? Завоняли нам номера наши щедрые хозяева. Пойду. — Он пошел к двери, обернулся, беспомощный и подавленный. — А на улице ветер с моря чуть ли не шквальный. Я смотрел в окно. Носятся тучи песка по улицам. Ну и местечко!

Он ушел. Ветер, ворвавшийся и в гостиный, цу, сердито прихлопнул за ним дверь.

А ведь мудрый старик. Жалкий и мудрый. На пороге стоящий. На пороге в пучину. Подходить к этому порогу тяжело. Вопросы изводят, так ли прожита жизнь. У него все в порядке, по течению плыл, на берег его не вышвыривало, а он вот изводится. Измельчился... Истаскался... Расслабился... Прав он, это точная мысль, что в ближнем бою враги, будто наобнимавшись, сами того не замечая, перенимают что-то друг от друга, прямо по-родственному перенимают. Точная мысль!

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

ТРИ ПЕРЕВОДА ИЗ ОМАРА КАБЕСАСА С КОММЕНТАРИЯМИ

И действительно, через десять минут в ночи засветились огоньки, словно у нас, в благословенно-мирном Домбае; только живут здесь не горнолыжники, а «кортадорес да кафе», сборщики кофе, добровольцы, приехавшие из Манагуа, — сто сорок человек, сто сорок автоматов; день в дозоре, день на плантации; работа каждый день, без отдыха, и так в течение четырех месяцев; люди живут в асиенде, комната — для мужчин, чуть большая — для женщин; спят в гамаках; очень тесно; согреваются дыханием, в горах холодно; много детишек — матери, добровольно приехавшие сюда (в основном работники аппарата Совета Министров, министерства финансов и культуры), берут малышей с собою, дома оставить не с кем: муж охраняет границу, отец расстрелян, сестра замучена в сомосовской охранке, мать умерла от горя — такое типично для Никарагуа...

Еду здесь готовят по очереди; особой славы пользуется Карин Кастро, заведующая секретариатом президента республики Даниэля Ортеги; приехала, как и все, на четыре месяца. Пища однообразная: изо дня в день лепешка с фасолью в шесть утра, перед выходом на плантацию, в четыре пополудни то же самое, только по воскресеньям жарят яичницу. Вечером — засыпают тут рано, в девять, движок надо экономить — чай с куском сахара и лепешка. Жизнь здесь тяжелая, по условиям приближенная к фронтовой; то и дело добровольцы гибнут, сраженные автоматными очередями бандитов.

Но первое, что мы услышали, когда «джип» остановился неподалеку от асфальтовой площадки, украшенной незатейливой иллюминацией, была музыка, стремительная румба; нигде я не видел такой слаженной, стремительной, чувственной румбы, как там, в Лос Ногалес, на маленькой асфальтовой площадке перед старой асиендой.

К Омару подошел товарищ, отвечающий за дозорных, отпортовал без показной выправки, спокойно, с достоинством, словно бы прислушиваясь к своим словам. Омар слушал его внимательно, хотя глаза его были обращены к сероглазой, пепельноволосой женщине в застиранной партизанской куртке, брюках и стоптанных солдатских бусах; она стояла неподалеку и не отрывала глаз от команданте.

— Мне сообщали, что молодые ребята, уходящие в секреты, курят, — заметил Омар. — Объясни им еще раз, что врага нельзя считать глупым; он умный, перестреляют всех, как цыплят. И еще они переговариваются в дозоре; это — преступление, ты же воевал, ты знаешь...

Лишь после этого он обнялся с товарищем, они похлопали друг друга по плечам, Омар перецеловал малышей, которые окружили его, каждому подарил карандаш, блокнот, конфету, значок и лишь после этого медленно, словно бы сопротивляясь чему-то, двинулся к той пепельноволосой женщине. Это Рут, жена команданте; он называет ее Гата; так ее называют все, потому что голубоглазых и пепельноволосых в Никарагуа принято называть «гатами», «кошками».

Музыка гремела всюду, упоенно плясали «кортадорес», но Омар и Гата, казалось, не слышали ничего окрест себя; тишина сопутствовала им, блаженная тишина любви: Гата не видала Омара месяц и еще три месяца не должна его видеть, поскольку сбор кофе продолжался сто двадцать дней. У него свое дело, у нее — свое. Омар привез письмо одного из руководителей Сандинистского фронта, команданте Томаса Борхе. «Я не знаю, как передать ей письмо Томаса, правда... Гата — особый человек, она может и Томасу ответить: «Привилегии начальникам — визитная карточка диктатур, а я служу революции». И все, пойдя переспорь ее!»

...Дело в том, что Пен-клуб Соединенных Штатов пригласил Кабесаса в качестве своего почетного гостя в связи со вторым изданием его книги; успех ее ошеломительный, в списке бестселлеров стоит на первом месте уже два месяца.

Узнав об этом, в Манагуа прилетели журналы; Омар дал интервью нескольким телекомпаниям и газетам; но практически ни одно из этих интервью не было опубликовано в Штатах, свобода слова весьма выборочна и вполне управляема — без костоломства, сдержанно и по-джентльменски: все, что против сандинистов, печатают броско, на первых полосах газет, то, что за, замалчивается...

Поэтому руководство Сандинистского фронта приняло решение командировать в Соединенные Штаты Омара с женой: должен быть соблюден протокол, тем более Гата, выпускница Гарварда, прекрасно знает английский, сможет помочь мужу делом, один солдат революции — хорошо, два — лучше...

Они теперь стояли близко друг от друга, окруженные песней, танцем, грохотом праздничных петард; смотри на них, сказал я себе, наблюдай за каждым их жестом, любуйся ими, это твоя надежда, они словно кислород: когда становится плохо и нет сил дышать, такая чистота возвращает к жизни.

«Кортадорес» теперь отплясывали кукарачу, самый любимый танец никарагуанцев; ах, какое забытое слово! Сразу же вспоминается лицо Утесова, наша маленькая квартирочка на Спасоналивковском, друзья отца; красивая Нюся Ларина, патефон, голос певца: «Я кукарача, я кукарача, потанцуем мы с тобой!»

А команданте и Рут по-прежнему неотрывно смотрели в глаза друг другу, а потом Омар, ощущая, что «кортадорес» хоть и пляшут самозабвенно, а все равно наблюдают за ним, легко погладил жену по щеке, потом протянул ей руку и пригласил к кукараче. Танцующие немедленно окружили их тесным кольцом: всем понравилось то достоинство, с которым команданте и Гата встретились; молодец Омар, остался таким, как был; не отгораживается, доступен каждому, не надо записываться в очередь на прием — вот он, рядом, говори о чем хочешь...

...Ночью, когда мы сели к костру и Гата прочитала письмо Томаса Борхе, в ее голубых глазах взметнулись красно-белые языки пламени. Пожевав травинку, она наконец сказала:

— Хорошо, я поеду. Я доберусь отсюда на попутках... Я буду в Манагуа за день перед вылетом в Нью-Йорк... А когда мы вернемся, я отработаю на сборе кофе те две недели, что мы будем в Штатах...

...Как же часто мир страдает беспамьятством! Как трагично то, что он лишен дара чувствовать хитросплетение людских взаимосвязанностей! Как легко и бездумно мы бросаем ничего не значащую для нас фразу: «Чашку кофе, пожалуйста!» Мы садимся за столик, болтаем о пустяках и ничего не знаем о Лос Ногалес, где коричневые зерна собирают люди, отдающие себе отчет в том, что в любую секунду из зарослей может простучать автоматная очередь контраст; отхлебывая глоток ароматной влаги, мы не думаем, чего стоит труд — по колено в воде, когда в горах выпадает холодная роса, как у нас в конце сентября, работают с температурой, не хватает лекарств, мало калорийной еды...

Чашка кофе стоит значительно дороже того номинала, что обозначен в прейскуранте, трагично много дороже...

...Для справки: младшего брата Омара Кабесаса звали Раулем. Сомосовцы убили его за восемь дней до освобождения страны от диктатуры. Старший, Ксавьер, погиб во время сражения возле Леона; отца, Хосе-Мария Кабесас-Донайре, сомосовцы расстреляли в госпитале за то, что его дети сражались в горах, чисто и свято веруя в то, что лишь революция может дать народу то, что он никогда не имел, — социальную справедливость.

На рассвете уже, когда тишина царила на асиенде и лишь часовые менялись время от времени, осторожно спускаясь с нар, чтобы уйти в секреты, Омар, приблизив свое лицо к пламени свечи, спросил:

— Хочешь, прочитаю отрывок, который я посвятил Гате?

— Конечно, хочу, — ответил я.

Он достал из кармана куртки мятые листки бумаги, долго чертыхался, разбирая их: «Всегда путаю страницы, да еще слиплись от пота, будь они неладны, днем жарится, ночью мороз» (здесь плюс двенадцать идентично нашим минус тридцати).

Он, наконец, разложил перед собою листочки и начал читать, как всегда доверчиво, будто мальчик, пересказывающий другу сказку Андерсена, которую ему только вчера нашептала бабушка:

«— Знаешь, Гата, чем отличается ночь от моря, земли и ветра? Она спокойнее. Да и по-разному они по-разному: море — внезапно, а ветер устрашающе, в то время как ночь постепенна. Она никогда не наступает в друг, в ней нет необузданности и зримой страсти...

Когда я воевал в горах, Ночь для меня была символом безопасности; я знал, что, когда она мягко, но в то же время властно опустится на землю, солдаты Сомосы не посмеют сунуться в горы, поскольку у Ночи свои законы, и главный из них — тишина.

Растворив в себе солнце, Ночь меняла все, а главное, нас; мы весело развешивали гамаки (я прожил в моем гамаке семь лет, не верится, право), закуривали сладкую — после десяти-

Окончание. Начало см. № 45.

тичасового перехода — сигарету, а перед сном шепотом пели наши песни, которые естественно вписывались в тишину.

Все замирало в горах, когда наступала Ночь; она была благосклонна к тем, кого любила; она не очень-то стремится командовать, но камни, деревья, люди подчиняются ей, оставаясь там, где она их настигла. Животные — самые близкие друзья тьмы; она к ним благосклонна, они не обязаны оставаться на месте; шорохи, которые происходят оттого, что проползет змея или где-то мягко прокрадется ягуар, угодны Ночи, она не перечит им, видимо, потому, что эти шорохи еще больше подчеркивают объемность столь угодной ей тишины. Ночью все звуки совершенно особые, они совсем не похожи на дневные, особенно в горах; пароль Ночи — тишина; любой иной звук может возникнуть только с ее разрешения, более того, Ночь, видимо, заинтересована в том, чтобы возник именно этот звук, а не какой-то иной. Пожалуй, главным из таких ночных звуков следует назвать Ветер. Мне всегда казалось, что Ночь принимала Ветер со снисходительным соучастием. Поскольку Ночью правительственные войска никогда не решались нападать на нас, я ощущал какое-то особое успокоение, постоянно думая о том, отчего же мир снисходит именно на нас в темноте и тишине. Знаешь, Ночь немного похожа на мою маму, она мягко понуждает тебя к трезвому размышлению о прожитом; порою мне кажется, что философия — это дитя Ночи. Правда. Для нас, во всяком случае, Ночь стала основным пунктом отсчета времени жизни, а разве это не есть основа основ философии? Я был убежден, что Время начиналось и жило в Ночи. Оно не так стремительно Ночью и существует лишь для того, чтобы заявить себя как пункт отсчета, без которого невозможно существование. Ночью я часто думал: откуда появилось время? Как оно рождается? Что есть секунда? Сколь реальна ее протяженность?

Я не верил детским сказкам про то, что Ночь прячется от солнца в стволы деревьев, поваленных ураганами, или же спускается в земные недра. Я знал, что мать Ночи — небо, ведь она приходит именно оттуда... Но иногда мне думалось, что Ночь возвращается из Прошлого. Я старался представить ее себе во всей вселенской грандиозности, я хотел понять, как она живет на земле, опутывая ее собою, как убаюкивает огромные города, тушит свет на широких авенидах, но при этом всегда помнит о нас и приходит в тот именно момент, когда наши силы на исходе, дыхания нет, карабкаться в горы невозможно более, а солдаты Сомосы идут по пятам, как гонимые. Иногда я боготворил ее, но порою, когда она задерживалась, думал, что она просто-напросто веселая беспутница, шландает по миру и ложится спать там, где вздумается. Нет, возражал я себе, неправда, она, может, и беспутница, но ведь она над всеми расами и странами, она поэтому соучастница всего происходящего! И при всем этом Ночь — хозяйка тишины, ларец с забытыми детскими игрушками, воспоминание о нежности, могила, свидетель любви и слез, сестра поэтического вдохновения и помощница мыслителя. Ночь полна легенд — в этом ее мистическая тайна. Она никому не навязывает себя, живет, как истинный художник, сама по себе, потому-то ей и не нравится, когда ее ранят посторонним шумом, когда кто-то незнакомый норовит ворваться в ее владения. Ночь требует уважения к себе — точно такого же, какое она проявляет к окружающим: хорошим и плохим, красивым и уродам, чистым и грязным. О, как много людских тайн известно Ночи! Наверное, поэтому в ней все же есть что-то властное — она далеко не все позволяет живым существам, деревьям и лианам. Тишина — проявление страха перед ее неотвратимостью, тишина — это, если хочешь, проявление некоторой растерянности всех дневных звуков мира перед могуществом Ночи; тишина — это самоанализ звука... Только к ветру Ночь испытывает снисходительность, разрешая, словно шаловливому ребенку, бегать, шуметь, затаиваться... Прислушиваясь к порывам Ветра, я лежал в гамаке и думал, что, возможно, Ночь, зная наши пороки, запрещает людям вмешиваться в ее дела, понуждает быть тихими и кроткими. А может, думалось мне, только самым мужественным дано вос-

стать против нее и пройти сквозь нее, как сквозь страшный, бесконечный, темный коридор, ведущий к свету... Иногда Ночь казалась мне таинственной вакханалией эротизма; безмолвная летаргия — лишь маска, призванная скрыть ее истинную сущность... Что любопытно: ночью я всегда предчувствовал появление Ветра. Еще до того, как он задувал, я говорил себе: «Вот он идет...» Вообще-то я хорошо знаком с Ветром, мы часто встречались с ним в горах во время переходов между боями. Я хорошо узнал его повадки, потому что мне от него и доставалось по первое число, но и ласку его я знал тоже. Он очень разный, этот Ветер. У него женский характер, при всей капризности он верен, никогда не предаст... И хотя в моем сознании Ветер больше ассоциируется с днем, чем с Ночью, но именно в тьме он раскрепощал мою фантазию, звал к себе, мчал над миром, в нем проявлялось что-то излишне дерзкое, рассветное... Ветер — главный хранитель тайн, поэтому я его маленько побаивался... Он же рождал во мне напряженное чувство ожидания: нет ничего страшнее ожидания, будь то писатель, страстно ожидающий публикации новой книги, художник, который ищет зал, где можно выставить картину, ученый, открывший новую формулу и нетерпеливо считающий минуты до того момента, когда он станет защищать ее перед настороженным залом, где соберутся коллеги... Когда Ветер задувал в ущельях так, что не было слышно голоса товарища, идущего в пяти шагах позади тебя, войска Сомосы обычно начинали свои операции, надеясь под рев урагана подкрасться к нам... Вот отчего он рождал во мне чувство напряженного, изводящего душу ожидания... Но когда наступала глубокая Ночь и Ветер продолжал свои, теперь уже безопасные для нас шалости (я же говорил, в Ночи сомосовцы боялись входить в горы), я начинал думать: откуда же он появился, этот веселый проказник? Все возникает из чего-то, правда? Вот я думал: может, он рождается в самом глубоком ущелье мира? Я был убежден, что он не может родиться в мелком кустарнике или на поле, — не его стихия. Скорее всего, казалось мне тогда, он рождался и рос в вертикальных разломах гор, на дне которых шумели невидимые глазу ручьи, только гуд — постоянный, тугой, напряженный. Я давно отверг предположение, что ветер таится в кронах деревьев, — это слишком очевидное, а потому ложное представление. Вообще-то порою мне было жаль его, — несется, словно Вечный жид, не может найти пристанища, не знает ни мгновения отдыха, вечно в движении... Вместе с Ветром бегут те, кого преследуют, вместе с ним летит над землею крик тех, кого пытаются, он хранит в себе этот ужас, вбирает в себя души мятежных, они нравятся ему, он нежен с донкихотами... Ветру знакомы тысячи таких же рыцарей печального образа, он и сам чем-то похож на стрельчатобородого мечтателя: спешит, надрывается, силясь объяснить что-то землянам, но разве да-

но им понять его страждущую душу?! В нем сумасшествие стихий, морские бризы, напоенные запахом йода и прелых водорослей, в нем звуки песен иных племен и народов, запах тех жилищ, которых уж нет более на свете, память о тех временах, когда земля не знала ни огня, ни людей, ни попугаев, он хранит в себе голоса погибших, стоны любящих, плач матерей, потерявших детей во время извержения Везувия... Иногда он казался мне толстым сукиным сыном, потому что обладал могуществом и знанием, но не желал делиться этими дарами Творца ни с кем из нас. Он бесстрашен и капризен, может ворваться куда ему заблагорассудится, ведь он такой могучий, никто не может остановить его... Я испытывал к нему нежность, когда он делался ласковым, освежающим, тихим, словно бы послушным тебе, — кажется, можно погладить его по головке, как любимую. Но стоит только показать ему свою нежность, как он взрывается бурей... Вот ведь сукин сын, а?! И все же чаще всего я сострадал ему, — и он, и я были одинокими странниками в ночи...

Но с кем я чаще всего ссорился, так это с Дождем. В горах он очень холоден, вбирает в себя то, что я люблю и с чем так или иначе дружен: Ночь и Ветер; вообще-то все существующее в мире наделено правом предстать перед тобою в лучшем виде, обманув ли, притворившись, изменив себя, но только Дождь — всегда Дождь. Иногда он составлен из длинных, нескончаемых нитей; порою льет лавиной, единым, неразрывным целым; даже животные, мимо которых мы бежали, прятались от него под деревьями или в пещерах. Впрочем, мы благодарили Дождь, когда отрывались от преследования, находили место под утесом, там ставили палатки и смеялись над сомосовцами, которые топали по задницу в воде, они ж палаток с собою не носили, ночевали в крестьянских домах и асиендах, только мы жили своим особым лесным братством... Мы тогда пели, веселились, курили, не прикрывая ладонью огонек сигареты, мы были благодарны Дождю, спасибо тебе, ливень, ты очень нам помог.

Именно в такие ночи и дни я любил Дождь, он снижал давление, снимал постоянное, изматывающее нервное напряжение, рождал ощущение детской безмятежности: стучит себе по крыше палатки, а ты лежишь в гамаке или прижался спиной к товарищу, и ощущаешь тепло, и не думаешь о том, о чем часто думаешь, когда идешь навстречу сомосовцам.

Но вообще-то Дождь подкрадывается тайком, чаще всего с легким бризом... Другое дело, если пройдет грибной кап-кап-кап; нет большего подарка для гор, деревьев, травы, чем этот серебряный дождь, легкий, словно прикосновение руки любимой, сотканный из нитей, прошитых радугой...

Однажды я ощутил пронзительный и невозвратный момент истины: после боя мы стали лагерем, и вдруг зримо и стремительно Ночь бросилась навстречу Ветру, в это время

Сюзана Тельма.



Рисунки Дарьи СЕМЕНОВОЙ
Сальвадор Кардинал.



начался Дождь, и все окрест соединилось воедино: камни, деревья, мы, лианы, птицы, звери. Это был миг поразительного блаженства, когда Ночь и Ветер, объединенные серебряным Дождем, отдались друг другу, отдались целиком, без остатка.

Я видел это, правда. Я лежал в гамаке, зажавшись, и вбирал в себя этот праздник природы, я учился у Ночи, Ветра и Дождя тому, как надо любить друг друга, наслаждался видом этой прекрасной любви, я тогда по-настоящему понял, что такое любовь, и это было таким счастьем, что я испытал наслаждение сродни тому, которое испытываю сейчас, Гата, когда вижу тебя...

...В ту Ночь я уснул легко, не думая о том, что нам предстояло сделать завтра, не думая о том, сколько наших погибнет в завтрашнем бою, не страшась того, что одним из тех, кто завтра должен погибнуть, буду я, потому что красота, возникшая в мире Ночи, Ветра и Дождя, дала мне ощущение бессмертия...

Омар достал сигарету, прикурил от пламени керосиновой лампы и спросил:

— Ну как?

Пронзительно-черные глаза тридцатисемилетнего генерал-лейтенанта Кабесаса вбирали в себя свет лампы, спящего на нарах студента, приехавшего на уборку кофе, тень автомата, стоявшего в изголовье, и я чувствовал, что ему сейчас не нужен мой ответ, он догадывается, каким он может быть, у него в глазах сосредоточенное отсутствие, он весь в своей новой главе; легко поднявшись, вздохнул:

— Как горько, что послезавтра нам придется уезжать в Матагальпу...

...Через два дня мы уезжали из Лос Нога-лес; сборщики сахара пришли смотреть рисунки, которые за эти дни сделала художница, приехавшая сюда вместе с нами; работница банка Манагуа, показав пальцем на свой портрет, обернулась к Рут, жене Омара:

— Неужели я и вправду такая красивая, Гата?

— Ты действительно очень красива, — ответила Рут. — Дарья поймала тебя.

Омар вздохнул:

— Только «ховен лобо»¹ на портрете получился некрасивым, хилым и неловким в движениях, правда, «вьехо лобо»²?

— Неправда, — ответил я. — Тебе может показывать Бельмондо. Вы с ним, кстати, походи...

— Но ведь он урод?!

— Не напрашивайся на комплимент, — сказала Рут с невыразимой нежностью. — Поцелуй нашу маленькую (их дочка, три годика), обними маму, передай привет всем друзьям, пожми руку Клаудии, скажи, что я напишу ей.

Когда мы сели в «джип» и начали спускаться в долину, я спросил:

— Кто эта Клаудиа, молодой волк?

Достав из-под сиденья пару гранат и положив на колени автомат — этот участок дороги простреливается особенно часто, — Омар, напряженно всматриваясь в окружающие нас заросли, рассеянно ответил:

— Это женщина, которую я любил... Мы вместе воевали в горах.

— Гата знает об этом?

— Конечно. Если спустимся в Матагальпу и нас не перестреляют, я дам тебе почитать главу из новой книги; она так и называется, «Клаудиа».

Нас не перестреляли, ночью мы вернулись в Манагуа, заехали к Омару, он перерыл письменный стол, долго чертыхался: «Где эта дерьмовая глава, надо же быть таким идиотом, чтобы писать в одном экземпляре, разгильдяй, жаль, если потерял, заново не напишу». Он нашел ее совершенно случайно на кухне — в который уже раз правил страницы за утренняя кофе, положил на рукопись книгу, поди найди...

Мы вернулись в наш маленький домик, выпили по стакану ледяной воды, художница разложила на кафельном полу свои портреты, а я отправился переводить главу из новой книги Кабесаса...

«После того, как я получил письмо, в котором Клаудиа писала, что она полюбила другого, тоже партизана, мне казалось, что я умру. Прямо на месте. Сразу. Но я должен был во-

евать и, наверное, поэтому не умер. И очень испугался, когда получил ее второе письмо. Я очень испугался, потому что это было так трудно — сказать себе: «Все, забудь ее, Клаудии больше нет, она с другим, ты должен делать свою работу так, как делал ее раньше, когда она воевала в моем отряде и была рядом, даже если ее рядом не было».

Я вскрыл длинный конверт, достал листок бумаги и прочитал ее письмо: «Прости меня, Омар; позволь мне вернуться; я любила и люблю только тебя; то, что было, — следствие обстоятельств; я рассталась с тем человеком...»

Я спрятал письмо в пластиковый пакет, где хранил весточки от родных и друзей, чтобы они не промокли во время дождя, и спросил себя: «Ну, и что же мне делать?» Мужские законы — не знаю, кем уж и когда сформулированные — понуждали меня ответить Клаудии, что прошлое вернуть невозможно. Разве можно вернуть улыбку? Или вчерашнее утро?

Я был обязан ответить именно так, несмотря на то, что любил ее, любил ее все то время, пока ее не было рядом; в глубине души я возмущался оттого, что она может вернуться; я убеждал себя, что мне совершенно безразлично, что она была с другим, хотя все эти месяцы боль в сердце была постоянной; я запрещал себе ответить ей согласием; я просто не имел права увидеть ее снова, потому что как только я ее увижу и она заговорит со мною, прошлое станет настоящим. Настоящим ли?

Если у мужчины есть жена и при этом другая женщина, то она, эта вторая, называется любимой. Если женщина замужем, но встречается с другим, он тоже любимый, кто же еще?! С самого раннего детства нам втолковывали: если мужчина знает, что у его жены есть любимый, и не бросает ее, не рвет с ней раз и навсегда, — значит, он презренный рогоносец. Эта убежденность была общей для всех никарагуанцев, для нашего Леона, для моей улицы и, что самое ужасное, для мамы.

Значит, разрешив Клаудии вернуться, я стану рогоносцем? Я должен буду привыкнуть к этой презрительной кличке, сжиться с ней и знать, что каждый думает обо мне с презрительным сожалением?! Как же мне объяснить людям, что я люблю ее?! Наверное, в сердце у каждого есть такое, что никому не надо объяснять. Не надо, и все тут. Зачем, зачем, зачем, зачем я рассказал друзьям про то письмо Клаудии, где она призналась, что теперь у нее другой?! Что они подумают, когда узнают, что я снова с нею? Они наверняка решат, что я не тот, каким казался им все то время, пока мы воевали в одном отряде. Они решат, что я дерьмо и слизняк. Те, кем я командовал, станут говорить, что их командир — козел, слабак, мужчина, лишенный чести. Они будут говорить об этом и во время перехода через горы к местам новых боев, и вечером, когда разведут костры — если мы станем на ночь в ложине, которая не просматривается, — и логика такого обсуждения не может не привести их к выводу: наш командир — мужчина второго сорта, рогоносец, он простил измену, может ли он руководить нами? Сейчас-то эти мои страхи кажутся дикими, но тогда я не находил себе места. Но потом я спросил себя: «Что же для тебя главное, Омар? То, что бы женщина, которую ты любишь, вновь была рядом, или для тебя важнее, что станут говорить о тебе за спиной?» И я ответил себе: «Ты вернешься к ней, потому что ты не можешь не сделать этого, так ты ее любишь. И ты не будешь рогоносцем, если вернешься. У нас с ней все по-другому. А если я и стану им, то, значит, так тому и суждено».

Честно говоря, такой ответ все же не очень-то устроил меня, и я попробовал поставить себя на место Клаудии, на место всех женщин с их проблемами, трудностями, страхами и радостями. И я спросил себя: а если бы Клаудиа узнала о моей связи с другой? И все в нашем отряде узнали бы об этом? И она знала бы, что все знают про эту мою связь? Оставила бы она меня? Или нет? Считала бы, что я поставил ей рога? Нет, сказал я себе, она бы все равно была со мною... Вот ведь жизнь, а?! Монета, но переверни ее другой стороной, и все меняется.

Ух, как трудно быть женщиной! Особенно когда на каждом шагу тебя поджидает пуля

врага, каждый миг жизни может быть последним, когда нервы напряжены до предела. А ведь сражение «городского партизана» (Клаудиа пошла по нашему заданию для партизанской работы в городе) порой еще более страшно, чем борьба в горах... Здесь, в горах, у каждого из нас есть своя обойма и свой гамак, а в городе обойму приходится делить на двоих и спать на полу в одном крошечном, душном чулане... Сколько раз я провожал моих товарищей из конспиративной квартиры в городе, улыбался им, подбадривал, а назавтра видел их изуродованные лица на первых полосах газет, которые печатали фотографии уничтоженных «врагов народа»... В условиях такого ежеминутного ужаса люди особенно остро хотят жить, мечтают о любви, ведь мы так молоды, нам всего двадцать пять, а в горы и подполье мы ушли шестнадцатилетними... Мы очень хотели жить, ах, как мы мечтали жить, хотя отдавали себе отчет, что каждый из нас может (или должен) погибнуть...

И вот Клаудиа, «городская партизанка», моя любимая, нежность моя и душа, сошлась — в этих жутких условиях ежеминутного предсмертья — с кем-то из моих товарищей, таким же партизаном, как и я... Можно ли клеймить ее позором? Вправе ли кто обвинить ее? И как мне не простить ее? Если бы тот, с кем она сошлась, был каким подонком, слизняком, прощелыгой, тогда другое дело, но ведь это у нее случилось с таким же, как я, с товарищем, братом по борьбе... Может быть, он погиб, поэтому она и решила вернуться ко мне? Нет, она бы так и написала...

Все смешалось у меня в голове... Я должен был принять решение, я не мог не ответить Клаудии, но я ощущал, как во мне глухо и темно поднималась ревность, рождался червь-древоточец, зуб, злоба, во мне бушевали злые духи — косматые беззубые старухи с пропитыми голосами, перед глазами то и дело возникали видения того, что она делала с тем, другим...

Помнишь, я как-то говорил, что человек в горах многое теряет? Отваливаются целые пласты бывших представлений о жизни, ненависти, любви, нежности, ты меняешься, становишься другим, то есть настоящим, каким и должен быть. По прошествии долгих лет в горах и городском подполье ты расстаешься и с воспоминаниями; это ведь в человеке самое личное, свое — в твои воспоминания не может ворваться полиция, их не усечет детектор лжи, это великое недостижимое — воспоминания. Получив письмо Клаудии, я понял, что случилось непоправимое; воспоминания вернулись ко мне, в настоящем утвердилось прошлое. Главное свойство мозга — память, ее выборочность; сейчас самой болевой точкой моего мозга сделалась любовь к Клаудии, а в таинственной глубине этой болевой точки я всегда хранил глаза Клаудии...

У нее были совершенно особенные глаза... Когда мы познакомились, я сразу же полюбил ее всю — ее прекрасные волосы, манеру держаться, ее очки с диоптрией, очень красивые, большие очки, которые так ей шли... Однако солнце постоянно бликовало в стеклах очков, и я не сразу смог понять ее глаза... Впервые я по-настоящему рассмотрел ее глаза, когда мы остались вдвоем и она сняла очки... Я понял ее глаза, когда мы оказались одни на этом свете, близко, вместе, и ее глаза были широко открыты, а на лице таилась странная, отрешенная улыбка...

Ее глаза были кофейного цвета; кофейные зерна, кожа вроде красного дерева, а может, меда — когда как; нос у нее был чуть длиннее, чем следовало бы, какой-то арабский... Медные волосы, медная кожа, кофейные глаза, правда, красиво? Чем дольше я присматривался к ее глазам, тем больше открывал их для себя. Особенно интересны были зрачки: симметричность линий и каких-то таинственных, глубинных рисунков делала их притягивающими, необыкновенными... Когда я любил Клаудию, ее глаза смеялись, лицо замирало в улыбке, и тело, казалось мне, тоже смеется от счастья, хотя я не мог видеть этого, оттого что самое большое наслаждение доставляли ее глаза. В них было счастье ее тела, моего тела, наших двух тел вообще, счастье всего мира. В самый последний миг рождался, грохотал и низвергался солнечный дождь, который высвечивал ее лицо изнутри, она широко открыва-

¹ Молодой волк (исп.).

² Старый волк (исп.).



ЗОЛОТАЯ ПАРА



Девятиклассница 704-й московской школы Катя Гордеева и 19-летний студент института физкультуры Сергей Гриньков в разные годы успешно сдали экзамен при поступлении в знаменитую школу фигуристов ЦСКА. (Заметим, что в конкурсе участвовало около трех тысяч мальчиков и девочек!) Мамы и папы, бабушки и дедушки приводили детей учиться на Роднину, Пахомову, Зайцева, Горшкова... Но родители Гордеевой и Гринькова хотели лишь одного, чтобы фигурное катание помогло их ребятам стать сильными и ловкими, научило чувствовать музыку, красоту и гармонию движений, помогло выработать правильную осанку и настоящий спортивный характер.

Далеко не сразу раскрылись дарования двух юных фигуристов. Катя и Сергей пробовали свои силы в одиночном катании, не подавая особых надежд. Решение испытать их в парном катании можно было расценить не как признание. (В то время еще бытовало мнение, что если не подходишь для одиночного катания — иди в парное, не годишься в парное — иди в танцы.) Может, именно по этой причине Сережа, уже добившись успеха в разряде юношей, с огорчением встретил предложение испытать свои силы в парном катании, тем более что в партнерши ему подобрали маленькую и худенькую девочку, ученицу третьего класса.

А Катя первой совместной тренировки ждала с нетерпением. Волновалась, хотя толком не могла понять, зачем ей нужен партнер, когда так хорошо каталась одной.

Но в школе ЦСКА действовала строгая дисциплина, и юных спортсменов без лишних разговоров повели в тренировочный зал. Каково же было удивление Сергея, когда он убедился в том, что у него не хватит сил, чтобы поднять эту маленькую девчушку. Дома ему пришлось много раз поднимать старшую сестренку, и лишь после этого Катя стала казаться ему пушинкой.

Не прошло и года, как молодая пара в силе и ловкости уже не уступала многим именитым спортсменам. И все же после каждой тренировки синяков и ссадин было не счесть. А сколько сил и времени потребовалось для подготовки первой программы!

С ними работали такие опытные тренеры, как В. Захаров, С. Леонович, С. Жук, такой умелый хореограф, как М. Зуева, и балетмейстер В. Мунтян. И все же первого успеха ждать пришлось два года. Но этот успех был головокружителен: школьница Катя Гордеева и студент Сергей Гриньков стали чемпионами мира среди юниоров! Чемпионат Европы принес им серебряные награды, а ровно через месяц, на чемпионате мира в Женеве, искушенные арбитры не устояли перед мастерством молодой пары и единодушно признали ее лучшим дуэтом мира.

Мне приходится ежедневно наблюдать за тренировками молодых чемпионов. Любители фигурного катания не могут себе даже представить, как сложно выполнять многооборотные подкрутки и особенно выбросы, сколько разочарований, огорчений и обид от неудач ежедневно приходится переживать золотой паре. А времени для отдыха, как всегда, очень мало.

...Я надеюсь увидеть Катю Гордееву и Сережу Гринькова на олимпийском пьедестале в Калгари, и к этому есть веские аргументы.

Виктор РЫЖКИН,
заслуженный тренер РСФСР
Фото А. Голованова

ла подрагивающие кофейные глаза, и в ее зрачках я видел то, что она скрывала ото всех: феерический поток огней незнакомого ни ей, ни мне города, мерцание свечей на балу в королевском дворце, веселье в доме старенькой бабушки, грохочущий паводок после весенних дождей... Я не поэт, мне не хватает слов, чтобы описать то, что я видел в тот прекрасный, последний миг любви в ее глазах... Нет большего счастья для мужчины, чем чувствовать счастье женщины, в глазах которой бьется все многоцветье мира, все запахи его лугов в горах, все его мелодии, что слышатся в ночной сельве, когда ты один на один с миром и рождается предчувствие того, что сейчас твоему взору откроется асиенда, и там нет сосисцев, и крестьяне, собравшись возле костра, поют свои великолепные песни, и ты испытываешь такую успокоенность, которую не может понять тот, кто не провел вместе с нами годы в этих бескрайних зеленых горах...

Когда мы были вместе с Клаудией, мне казалось, что нет ничего прекраснее, полнее и законченнее, чем наша любовь; это как первые лучи солнца в мамином доме, как первое в твоей жизни мороженое, купленное отцом в день праздника, это вроде антильской сливы в меду, это песня Донны Саммерс, улыбка Аль Пачино, Тайная Вечеря...

Я говорю так сумбурно потому, что, когда наступал сладостный миг любви, в глазах Клаудии все смешивалось: и музыка, и самые фантастические цвета, которых нет на земле, радуга, купающаяся в песнях, тишина, которую слышат в космосе...

Воспоминания... Память... Я никогда не мог заставить себя забыть ее счастье, которое было и моим. Я никогда не мог забыть, как с ее волос стекали капельки ливня, и они были на-

поены запахом цветов и горной воды, и я жадно ловил их пересохшим ртом, и ее глаза, огромные, улыбающиеся, отрешенные, таинственные, как Джоконда, были рядом с моими глазами...

И эти глаза видел кто-то другой?! И так же, как я, пил капли солнечного ливня?! И слышал бетховенский орган?

Я мучился много дней, а потом сказал себе: «Все, хватит, Омар! Или — или. Давай решим так: ты сам отдал товарищу эти глаза. Взаимы. Иначе бы он умер с голода. Или умер, не имея возможности получить лекарство. Да и потом у нее с ним все было по-другому. Он же не мог понять ее глаза так, как понимаешь их ты, правда?»

...Я отложил рассказ Омара, лег на широкую тахту, включил кондиционер, сразу же услышал крик январских цикад и ощутил влажную тишину тропической ночи.

Закурив, спросил себя: «Ну и что, старый волк? Ты бы решился написать такой рассказ о том, кого любил, и прочитать это жене, матери своей трехлетней дочки? Однажды ты попробовал такое, и тебе до сих пор стыдно из-за того, что случилось после... Такой рассказ мог написать только тот, кто десять лет провел в горах и городском подполье, а последние семь лет под пулями контраст... Воистину иной отсчет самоуважения... Революция рождает честность в отношениях между мужчиной и женщиной; правда, только правда, ничего, кроме правды... И восхищаться этим рассказом может лишь та жена, которая отдала свое миллионное приданое революции, а учась в Гарварде, помогала, чем могла, санднистам... А может быть, Гата ломает себя, — подумал я. — Может быть, она относится к редкостному типу сильных и умных женщин, которые

понимают мужчин, своих младших братьев и сыновей? Каждая женщина старше мужчины; возможно, в Гате совмещено несовместимое: очень красивая, молодая, старая женщина, сильная и мудрая? Нет, ответил я себе, — просто Гата есть Гата, Омар есть Омар, а Никарагуа — это Никарагуа...»

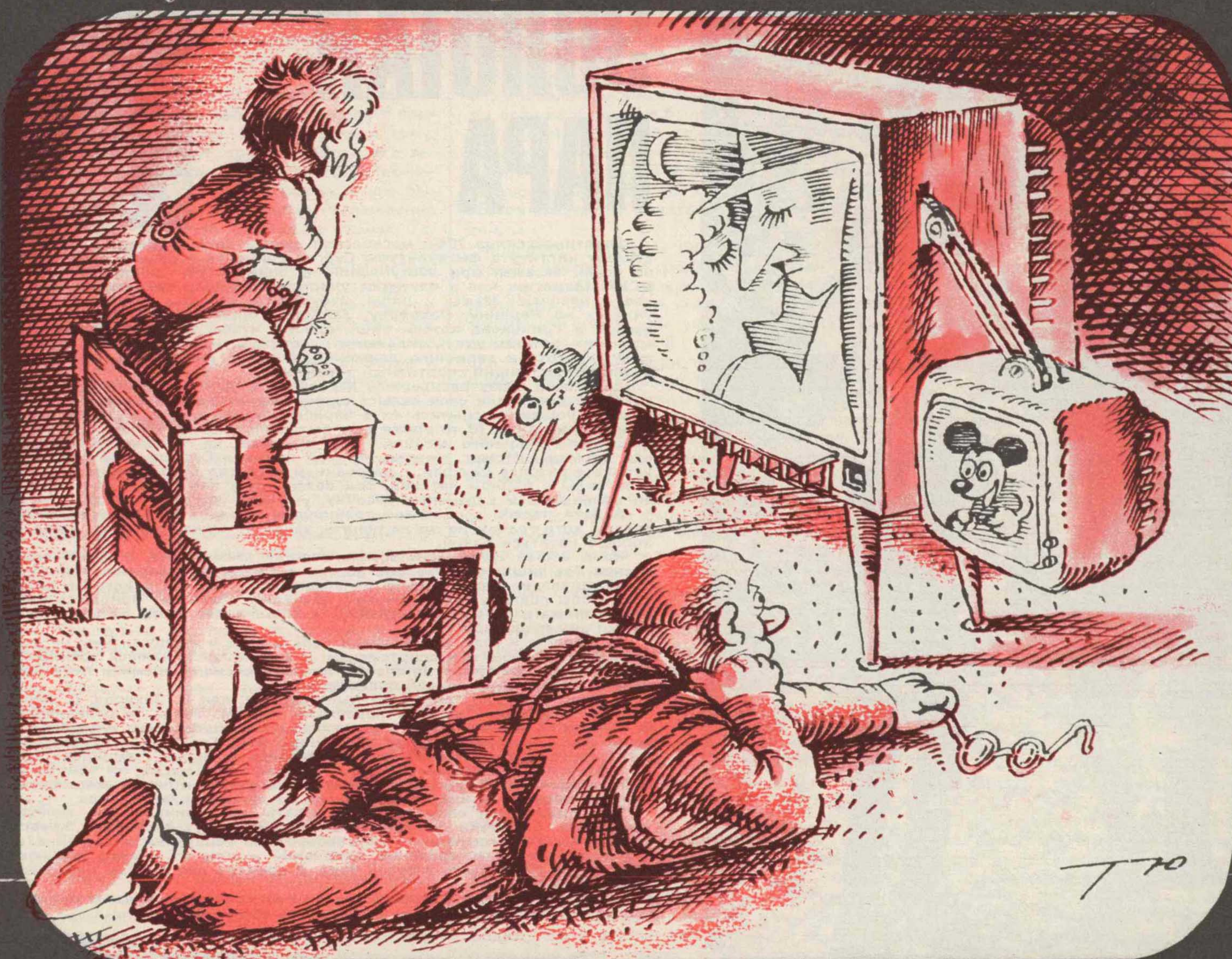
Мы исследуем подвиги революционеров, их самоотверженность, логику борьбы, но отчего же вне поля зрения остаются такие моральные категории, как любовь, честность, уважение к чувству другого? Может быть, это столь же важно для человечества, как и сражение против зла и социальной несправедливости? Когда появляется плесень ханжества? Кто благословляет ее, отбрасывая в прошлое то, что рождалось вместе с крушением рабства, абсолютизма, диктатуры? Чем объяснить то, что революция, свергшая Бурбонов, так покорно благословила новую монархию Бонапарта?

Как сохранить живую память революции в поколениях? Сколько ни кричи «халва», во рту от этого не станет слаще. Что больше помнит Франция: штурм Бастилии или триумф Наполеона? Поди ответь... Однозначность будет успокоительной ложью; с другой стороны, возможна ли многозначность ответа в наш прагматичный, хоть и взбаламученный век?

...Только в правильных пьесах или романах герои обязательно находят верное решение; в жизни все труднее и горестней; поэтому я выпил таблетку снотворного и выключил свет; спасительное «утро вечера мудренее» позволяет человеку продолжить жить и выполнять свои обязанности, хотя это совсем не простая штука, особенно в годину крутого перелома, накануне того часа, когда надо принять решение — единственное на те годы, что тебе осталось прожить на земле, зная, что отпущено их очень немного.

нужны новые формы телевидения для детей

где искать «свою» передачу
детское «время» — почему бы нет?



Елена БАБАХИНА

Рисунок С. ТЮНИНА

ОТКРЫВАЯ ГЛАЗА НА МИР

Когда-то в добрые старые времена едва у младенца мир с головы вставал на ноги, он слышал «Баю, баюшки, баю...», «Полетели, полетели, на головку сели...» — тихие песни, добрые сказки. В те годы ребенка формировала только семья, потом ясли, детский сад, школа. Теперь, едва раскрыв очи, младенец оказывается... перед экраном телевизора: «Спокойной ночи, малыши», «Сельский час», «Сегодня в мире», «Резервы экономики», эстрада, наша и «не наша», вперемежку с мультфильмами... Взрослое и детское, понятное и непонятное, допустимое в его возрасте и недопустимое. И уже смещаются акценты, формирующие личность, и не всегда в лучшую сторону.

Телевидение стало неотъемлемой частью нашей жизни, открыло нам глаза на мир. Но это безусловное приобретение человечества, как это часто случается, имеет и негативные стороны, оно породило массу вопросов и сложностей. Сетовать бессмысленно. Это все равно, что проклинать телефон только потому, что он отучил нас писать друг другу письма, — тоже потеря немалая. Так что проблемы есть. Я об одной из них — телевидение и дети.

С первых же шагов телевидения стало ясно: у детей должно быть свое телевидение, и стали появляться на экране именно детские передачи то по одной программе, то по другой, то утром, то днем, а то и вечером. Шло время, телевидение набрало темп и приобрело мас-

штаб, но по-прежнему детское вещание остается разобщенным и разбросанным, передачи идут в разное, часто неопределенное время, блуждая по телеканалам. Дети крутят ручки телевизоров, гоняясь за своими передачами, взрослые стараются усадить их перед телевизором в «их» время, а кончается тем, что малыши смотрят все подряд: мультфильмы, «Справочное бюро», «Здоровье», чаще всего вместе со взрослыми. Детское вещание так и осталось чем-то вроде придатка взрослого, основного. А кто сказал, что детское вещание не основное, если учесть к тому же количество телезрителей — детей и подростков и их особую тягу к телеэкрану? И вот разгораются баталии, бушуют внутрисемейные телестрасти — это можно, это нельзя — битвы за монополию взрослых или детей на место перед экраном.

Так не настало ли время создать стройную, научно обоснованную и максимально разумную систему детского вещания, чтобы целенаправленно несло оно и воспитательные, и познавательные, и развлекательные функции, не вступая в конфликт со «взрослым» вещанием, чтобы отвлекало детей (не запретом и окриком) от взрослых передач, сделало телевидение поистине активным и гибким инструментом воспитания подрастающего поколения, обеспечило ему зрительскую самостоятельность?

Не учитываем мы и того, что организация свободного времени у взрослых в значительной степени определяется телевидением. Что уж говорить о детях — их «собственное» веща-

ние могло бы стать в этом смысле тем более определяющим.

И вот сам собой напрашивается вывод — организация самостоятельного канала телевидения для детей и подростков. Конечно, дело это нелегкое и небыстрое, особенно если речь идет не просто еще об одном телеканале, но о качественно новом, специфическом, хорошо продуманном, организованном. Но с чего-то надо начинать, где-то попробовать, обкатать, отобрать лучшее, придумывать и постепенно внедрять. С ходу на ровном месте такую объемную, значительную программу не создашь.

Но вот можно представить себе такой рабочий вариант. Уже сегодня в качестве плацдарма организовать пусть пока ограниченную по времени, но стройную, продуманную и цельную детскую программу и передавать ее по одному из уже действующих телеканалов. Скажем, по третьему московскому? Уже сейчас можно представить себе структуру такой программы. Для нас, взрослых, стержнем, организующим наш вечер, стала популярная программа «Время». Детское вещание тоже могло бы строиться вокруг информационной программы продолжительностью минут пятнадцать, выходящей в эфир в одни и те же часы. Материала же более чем достаточно.

Кстати, вызывает удивление: почему корреспондентская сеть нашего телевидения в Союзе и за рубежом работает только на взрослую аудиторию? А дети? Что, для них нет материала? Или опять это второстепенно — снимать сю-

ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ

жеты для детей? Между прочим, почему бы таким образом не готовить самостоятельную рубрику для детского вещания «Международная панорама для детей», выходящую сколько-то раз в месяц? Но это к слову, а в программе для детей в одно и то же ожидаемое ими время должны показываться художественные фильмы, транслироваться прямые или в записи детские спортивные соревнования, спектакли, цирковые программы, передачи о художественном и техническом творчестве. Достаточно, чтобы заполнить уже сегодня трехчасовую детскую программу, а затем, когда появится наконец самостоятельный канал, разнообразить ее и совершенствовать с учетом уже накопленного опыта.

Оперативное телевидение в короткие сроки способно создать и новые серьезные рубрики, постоянно вести дискуссионные клубы. Дети не любят, когда им преподносят, как говорится, на блюде. Так почему бы им, пусть в качестве зрителей, не участвовать в диспутах на тему «Что такое сильная личность и лидерство в коллективе» — сколько копий ломается в связи с этой злободневной проблемой. Или: «Что такое настоящий мужчина». Или: «Моя мама, мой папа» — рассказы о «женских» и «мужских» профессиях. Хорошо бы создать рубрику «Эпос народов мира» — как мало наши дети знают об этом. Мне кажется крайне заманчивым возродить мультипанораму. Она существовала до конца 60-х годов и пользовалась успехом. Да мало ли можно придумать и собрать из уже блуждающих по другим каналам передач и свести их в единую систему — детское вещание, наделив его и «своим лицом»! Как было бы интересно в этом смысле привлечь в качестве ведущих, комментаторов и дикторов наряду со взрослыми и подростков. Есть же они (хоть это и не лучший пример) в «Пионерской зорьке»! Пока же детское вещание далеко не использовало своих возможностей (и не по вине самих работников детского вещания) и, представляется мне, не очень-то поспевает за стремительным бегом времени, так что поле для фантазии и творчества здесь необозримо.

Теперь еще об одном наиважнейшем элементе будущего детского вещания. Общеизвестно, как велик на телевидении удельный вес кинопродукции. Дети же пока что сидят у нас на голодном пайке — и количество фильмов их (и нас) не устраивает. Причин здесь много. Но об одной необходимо сказать. Детские фильмы производятся на разных студиях по принципу кто во что горазд. Некоторые режиссеры снимают детские фильмы от случая к случаю, может, вообще единственный раз в жизни, когда не удается сделать взрослые. К телевизионному кинематографу это относится в наибольшей степени. Дети проводят перед экраном телевизора гораздо больше времени, чем в залах кинотеатров, особенно самые маленькие. Для них фильмы нужно делать по-особому. Малыш в состоянии полноценно воспринимать изображение не более 15—20 минут, потом внимание его рассеивается, ребенок устает. Пора позаботиться и о них — создавать короткие фильмы. Для тех, кто постарше, — более продолжительные, но не полнометражные. А какое благодарное дело — создавать серии короткометражных фильмов на основе детской советской и зарубежной классики! Оправдавшая себя телевизионная форма! Непозволительно мало делаем для детей документальных, научно-популярных, музыкальных фильмов, а они необходимы для телепоказа.

И вот сама собой напрашивается мысль о едином Центре по производству детских и юношеских телефильмов, где будут создаваться и художественные, и документальные, и научно-познавательные, и все другие фильмы для детей. Центр мог бы взять на себя производство детских фильмов, которые ныне выходят в эфир в виде телепередач «АБВГДейка», «Будильник» и других, обеспечивая их более высоким уровнем. Не будем забывать, что в нашем распоряжении уже давно есть видеотехника, способная снимать быстро и экономично.

Потенциальные возможности новой формы вещания для детей и подростков убеждают, по моему мнению, не просто в ее целесообразности, но настоящей необходимости. И хорошо бы обсудить все возможные варианты не только в недрах телевидения и кино, но вообще.

Сегодня
все
знают,
что
такое
МЖК —
молодежный
жилищный
комплекс.
Это
была
прекрасная
инициатива
комсомольцев
Свердловска,
завоевавшая
право
на
бытие,
подхваченная
сотнями
городов
огромной
страны.
О новом
почине,
новой
перспективной
идее,
родившейся
в
Свердловском
горкоме
ВЛКСМ,
рассказывает
наш
корреспондент.
Этим
выступлением
журнал
продолжает
тему,
начатую
очерком
«Старики?»
(№ 27).

продолжение темы

К

омандировка в этот город началась с вот такого письма:

«Мой внук ни в чем не хочет мне помогать. А я, между прочим, нес его семнадцать лет назад из роддома, поскольку его отец был в отъезде. Мы давно живем врозь, он отвык от меня, я понимаю. К сыну и невестке я не в претензии — они не забывают старика, хотя у самих дел по горло. А этот лоб, мой внук, находит время гулять с друзьями, а купить продукты, сбегать в аптеку для деда — никак. Обошелся бы я и без него, если бы была в городе организация, которая могла помочь старикам...»

В. И. Никулин, пенсионер».

Далее следовал адрес. Но обнаружить товарища Никулина не удалось. То ли номер дома он спутал, то ли передумал в последний момент... Что ж, нет, так нет. Впрочем, людей, подобных адресату, пожелавшему остаться неизвестным, в Свердловске мне пришлось увидеть немало. Старика на скамейках у подъезда — слишком уж привычная картина городской жизни.

Вот и этого пожилого человека постоянно можно видеть на лавке во дворе. С любым, присевшим рядом, старается тут же завести разговор.

— Дочка! — окликнул он и меня. — Подскажи, который час? Мои встали что-то!

— Может, испортились? — приостановившись, предположила я.

— Раз пять носил уже свой хронометр в починку, — живо отвечивал он, поднося часы к уху. — Остановились — и все тут. А до мастерской далековато. Дочку бы попросить, так неудобно по мелочам беспокоить, живет на другом конце города!.. Дегтярев Сергей Иванович! — представился он без всяких церемоний. — Бывший горный инженер. Поработал по всей стране, а как на пенсию вышел, сюда перебрался, в Свердловск, к дочери. Супругу-то я схоронил давно.

Но дочь в гостях у отца бывает редко, и живет далеко, и забот ей хватает — двое детей, муж, работа, магазины.

— Вот звонит недавно. Говорит, младшая, Светка, заболела, ты, пап, не посидишь? Конец квартала, аврал, сама не могу. Ну, поехал. Книжку вслух внучке читал, телевизор вместе смотрели... А потом домой — не ночевать же там, квартирка маленькая. Утром, понимаешь, встать не могу. Полиартрит, так ноги прихватило, что самому нянька нужна.

И сидеть бы бывшему горному инженеру без хлеба и молока целый день, кабы не соседка, молодая одинокая мать Анастасия Васильевна. Впрочем, Сергей Иванович в долгу не остается — посиживает часто с ее пятилетним пацаном, своим тезкой. Детского сада Сережке не хватило, и Сергей Иванович для Насти — прямо, по ее словам, спасение.

Что будет, подумала я, если вдруг расселят их коммуналку и дадут бывшему горному инженеру отдельное однокомнатное жилье? В котором, если прихватит хворь, уже некому будет купить и согреть молоко? И в котором существует еще одна грозная опасность — порой в таких благоустроенных

жилищах человека «съедают» стены.

— Хаживал я тут недавно в наш ДЭЗ, к главному инженеру, — вывел меня из короткой задумчивости возглас Сергея Ивановича. — Давай, говорю, наберем мальчишек, буду их самой простой техникой обучать. Я ведь инженер все же. Мясца тот, мясца, помещения, говорит, нету, все подвалы посадал под склады...

Тем временем мимо меня, приветливо поздоровавшись, пробежала с двумя тяжелыми сумками Настя, соседка Сергея Ивановича. Вместе с ней я поднялась на третий этаж их старенькой пятиэтажки — взглянуть, как живут.

— У нас еще и третий жилец есть — Елена Федосеевна! — начала Настя, принимаясь за готовку. — Совсем старенькая, иногда лежит целыми днями. В дом инвалидов не хочет, в больницу вроде делать нечего. Я и простыни иногда сменяю, и в ванне ее вымою... Так и живем — бабка за деду, дедка за репку.

Давно оглохшая, Елена Федосеевна на мой стук и робкое «здравствуйте» не отзывалась. Она неподвижно лежала, глядя в потолок. На фанерном буфете громко тикали ходики. Стол без скатерти, два стула, приемничек на стене. Я прикрыла дверь. И-да-а, а что будет с ней, не будь соседей?

Признаюсь, меня одолевала невеселые мысли, когда я переступала порог кабинета Николая Хальзова, первого секретаря Свердловского горкома комсомола.

— Вот очень кстати, что вы отравились не в райсобес, а в комсомольскую организацию, — прервал он меня, поняв, о чем идет речь. — Между прочим, мы в горкоме уже несколько месяцев размышляем над этими проблемами. Как на них вышли? Есть у нас вечернее дежурство в горкоме, так и называется оно — вечерний горком. Члены его — в основном активисты, ответственные за молодежные общежития. Наши ежедневные обходы помогли вскрыть самые острые проблемы, стоящие перед молодыми семьями. Выяснилось: очень часто молодой семье не с кем оставить ребенка. А пенсионеров на скамейках вблизи от общежитий более чем достаточно. Расспрашивали и молодых, и пожилых. Так вот, пенсионеры охотно посидели бы с ребенком, только если ходить недалеко и заплатить им за это. Думали, как помочь и тем, и другим. И решили создать организацию, которую назвали «Бюро социальной взаимопомощи». Охватит она весь полуторамиллионный город. Молодежь получит возможность подработать, помогая тем же пенсионерам. Они, в свою очередь, какое-то время за их детьми присмотрят. Тут взаимная помощь, взаимная польза. С молодыми, думаю, ясно. А пожилые люди вдобавок смогут заполнить некий психологический вакуум, вновь почувствуют себя нужными обществу.

Встать на учет в «Бюро социальной взаимопомощи» сможет любой желающий, если нуждается в помощи или хочет подработать. Ему будет достаточно набрать нужный номер по телефону, сообщить свой адрес, возраст, бытовые нужды и «рабочие» возможности. Диспетчер бюро занесет все это в специальную картотеку. Взнос для членства предполагается небольшой — три-четыре рубля в месяц. Основные материальные фонды для оплаты услуг бюро предполагает создать за счет взно-

сов городских предприятий и учреждений. Работать бюро будет на хозрасчете и, как мы полагаем, сумеет себя окупить.

Только мы бы не хотели, чтоб новую организацию путали с городским управлением бытового обслуживания, в которое идут люди в основном ради постоянной работы и хорошего заработка, — подчеркнул Хальзов. — Основным двигателем бюро мы сделаем человеческий фактор, чисто человеческую взаимопомощь. Молодые — пожилым, пожилые — молодым. Привлекаем к работе старшеклассников и учащихся ПТУ. Бюро предполагает иметь свой собственный счет во всех сберкассах города. Оплатить услугу, получить деньги за труд каждый сможет по чеку, подписанному тем, кому оказана услуга.

Комсомол Свердловска взялся за дело не шутя. Заручился поддержкой горкома партии, уже есть первые сотрудники бюро — комсомольцы-активисты. Единственное, чего опасается Хальзов, — бюрократических рогаков.

— Знаете, сколько времени потратили на пробивание МЖК? Десять лет. Очень не хочется тратить столько же на организацию бюро.

Судя по тому, что я узнала из беседы с экономистами, разрабатываемыми документами для будущей организации, создавать такое бюро следовало бы уже вчера. Четверть населения огромного промышленного города составляют пенсионеры. Почти столько же в Свердловске и комсомольцев, самой мобильной части населения. Вдобавок, по последним данным, в городе растет рождаемость. Это отлично. И тем нужней «Бюро социальной взаимопомощи». Здесь одинокие люди смогут реализовать свою потребность общения, потребность самому быть нужным, кроме материальной заинтересованности. За чем же дело?

— Бюро необходим простейший юридический статус, — считает заместитель директора Института экономики Уральского научно-го центра Геннадий Пешков. — Как я понимаю, решать этот вопрос должен Госкомтруд СССР совместно с ВЦСПС, а работать бюро должно непременно в ведении и под руководством комсомольцев. Горисполком — председатель его товарищ Шаманов — тоже «за». Дело за нами. Как только закончим наши разработки и их утвердят городские власти, можно «запускать» бюро.

По дороге в гостиницу я рассказала Сергею Ивановичу о рождающейся в городе организации. Что, стал бы он в такой сотрудничать?

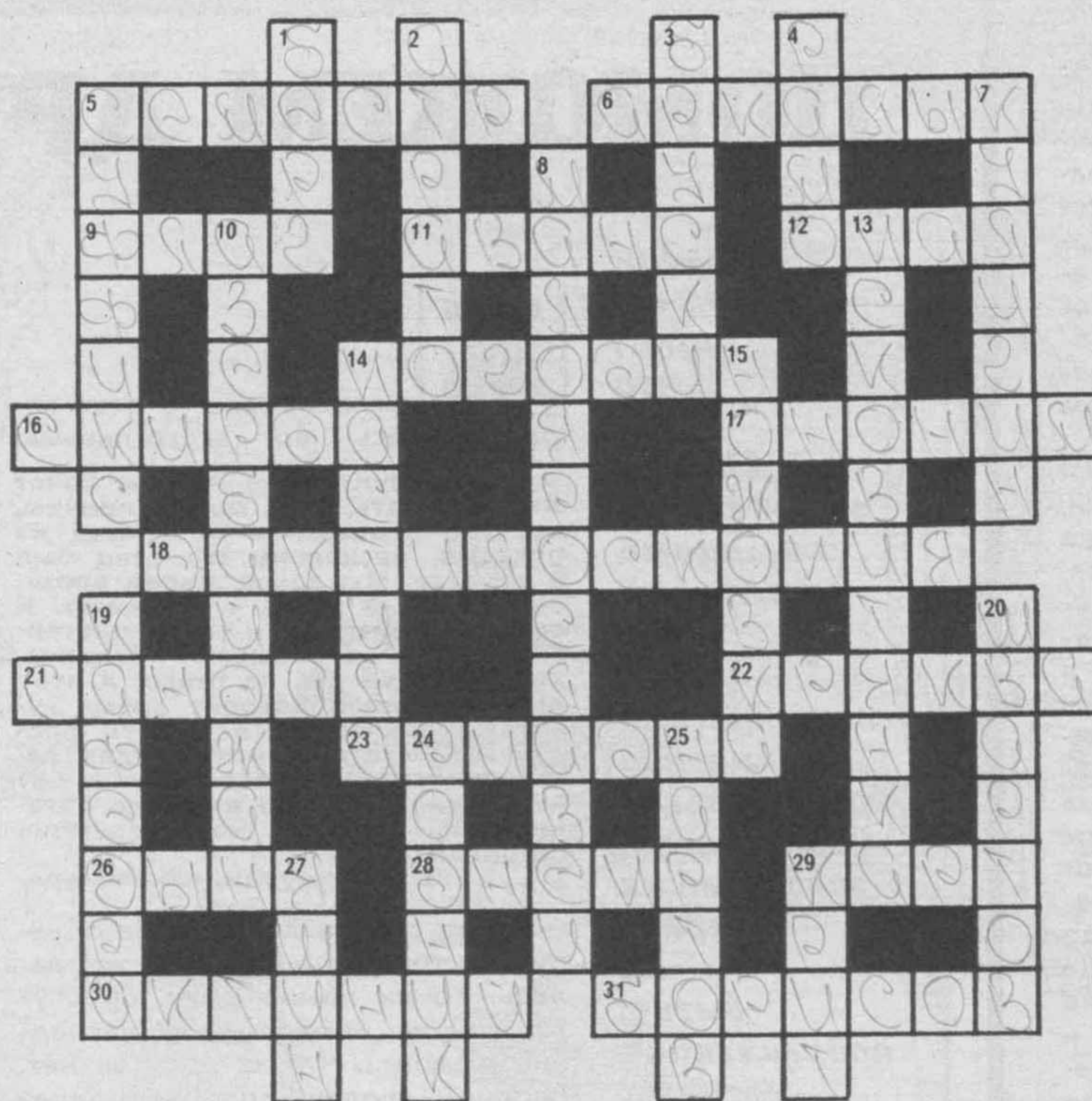
— А почему нет? Очень даже, — бодро отвечал Дегтярев.

— И, думаете, молодежь тоже пойдет?

— Если умно позовут, пойдет.

Редакция надеется, что читатели помогут советом создающейся организации. Что подскажут нам горожане! Каково мнение сельских жителей!

Журнал обращается также от имени комсомольской организации Свердловска к российскому республиканскому Государственному комитету по труду, к Совету Министров РСФСР и ВЦСПС и ждет от них реальной поддержки инициативы свердловчан. О первых же шагах «Бюро социальной взаимопомощи» журнал сообщит читателям.



кроссворд

По горизонтали: 5. Половина учебного года в вузе. 6. Областной центр в Казахстане. 9. Прикрепленное к древку полотнище с изображением герба, эмблемы. 11. Деньги, выдаваемые в счет заработка. 12. Минерал, драгоценный камень. 14. Советский драматург, лауреат Ленинской премии. 16. Стог сена, соломы. 17. Слово, однозвучное с другим, но отличное по значению. 18. Раздел криминалистики. 21. Озеро на юге Карелии. 22. Дикая утка. 23. Рассказ А. П. Чехова. 26. Бахчевая культура. 28. Река в Европейской части СССР. 29. Гонимый микролитражный автомобиль. 30. Радиоактивный химический элемент. 31. Народный артист СССР.

По вертикали: 1. Советский физико-географ и биолог, академик. 2. Река в Колумбии. 3. Роман Ф. И. Панферова. 4. Французский композитор XVIII века. 5. Часть слова. 7. Действующее лицо драмы А. Н. Островского «Гроза». 8. Город в Калужской области. 10. Союзная советская республика. 13. Опера Н. А. Римского-Корсакова. 14. Кондитерское изделие. 15. Ручная пила. 19. Объединение научно-преподавательского состава в вузе. 20. Трос для крепления судна к причалу. 24. Картина А. А. Пластова. 25. Русский механик и изобретатель XVIII века. 27. Советский футболист, вратарь, олимпийский чемпион. 29. Греческий остров в Средиземном море.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 45

По горизонтали: 5. Неруда. 7. Чкалов. 8. Ямантау. 9. «Октябрь». 12. Кинешма. 14. Насонов. 16. Рученица. 17. Блюм. 18. Елец. 19. Подсолнечник. 20. Солидарность. 21. Уток. 23. Нота. 25. Мантисса. 27. Дейнека. 28. Максима. 29. Бабакин. 31. Клинтух. 33. Розина. 34. Айован.

По вертикали: 1. Терминал. 2. Руан. 3. «Баня». 4. Собрание. 6. Анабар. 7. Чакона. 10. Почвоведение. 11. Бдительность. 13. «Шампанское». 15. Свекольник. 22. Тайманов. 24. Трибунал. 25. Марина. 26. Амплуа. 30. Азия. 32. Неон.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Чемпионы мира в парном катании Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. [См. в номере материал «Золотая пара».]

Фото А. Голованова

МАРШАЛ ПОБЕДЫ

Родина четырежды отмечала его высоким званием Героя Советского Союза. А в памяти людей всех поколений — и наших современников, и далеких потомков — Георгий Константинович Жуков навсегда останется Народным Героем — одним из тех, чей полководческий гений привел страну к Победе в смертельной схватке с могучим и жестоким врагом — германским фашизмом.

К 90-летию Г. К. Жукова журнал предлагает вниманию читателей серию публикаций «Маршал Победы». В нее вошли строго документальные заметки и суждения самого полководца, относящиеся к разным периодам его воинской деятельности, а также диалоги и переписка, которые он вел с писателем К. М. Симоновым.



ДАЙТЕ ВЫПЛЕСНУТЬ СЛОВА...

Кто не знает гитары Булата Окуджавы! Его песни крутили на магнитофонах, ими заслушивалась молодежь шестидесятых, их поют и сегодня — с профессиональных эстрад и у лесных костров, с телеэкрана и просто вполголоса, под настроение. Но, пожалуй, лучше всего звучит песня Окуджавы, исполняемая им самим, — тут сливаются в слове, в звуке струны и мелодии печаль, мысль, улыбка, надежда.

Именно об этих спутниках жизни — печалих и радостях, думах и надеждах, а еще о литературе, истории, о своем поколении, своей судьбе и рассказал нашему корреспонденту поэт и прозаик Булат Шалвович Окуджава. Это интервью вы сможете прочитать в одном из ближайших номеров «Огонька».

ДАЛЕКОЕ— БЛИЗКОЕ

Аркадий Шайхет... Это имя стоит в ряду имен лучших фотолетописцев истории нашей страны. Его снимки запечатлевают лица рабочих и крестьян, облик Москвы далеких 20-х годов, новостройки и повседневный быт. Наше сегодняшнее восприятие той далекой поры стало бы неполным, не будь мгновений, сохраненных для нас репортером. Ныне эти фотографии не только бесценные свидетели истории, но и образцы высокого мастерства.

В одном из ближайших номеров вы сможете прочесть наш рассказ об огоньковце двадцатых годов фотокорреспонденте Аркадии Шайхете и увидеть его снимки тех лет.



«Я— РЕЖИССЕР»

«Не могла себе представить, что быть режиссером так трудно. Столько надо видеть, держать в поле зрения!»

Народная артистка СССР Елена Образцова рассказывает о своем дебюте как постановщика оперы Массне «Вертер», премьера которой состоялась только что в Большом театре СССР.

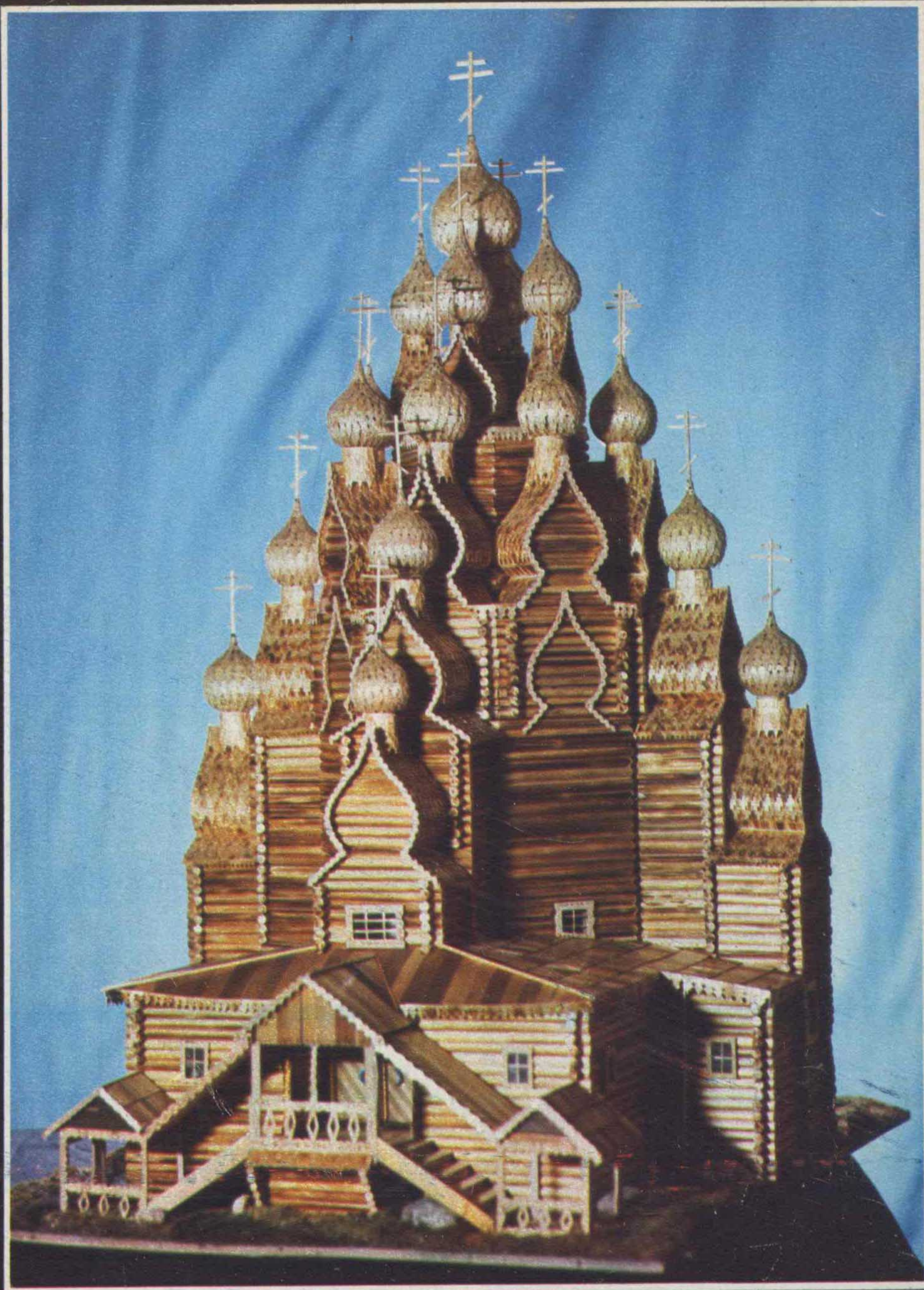
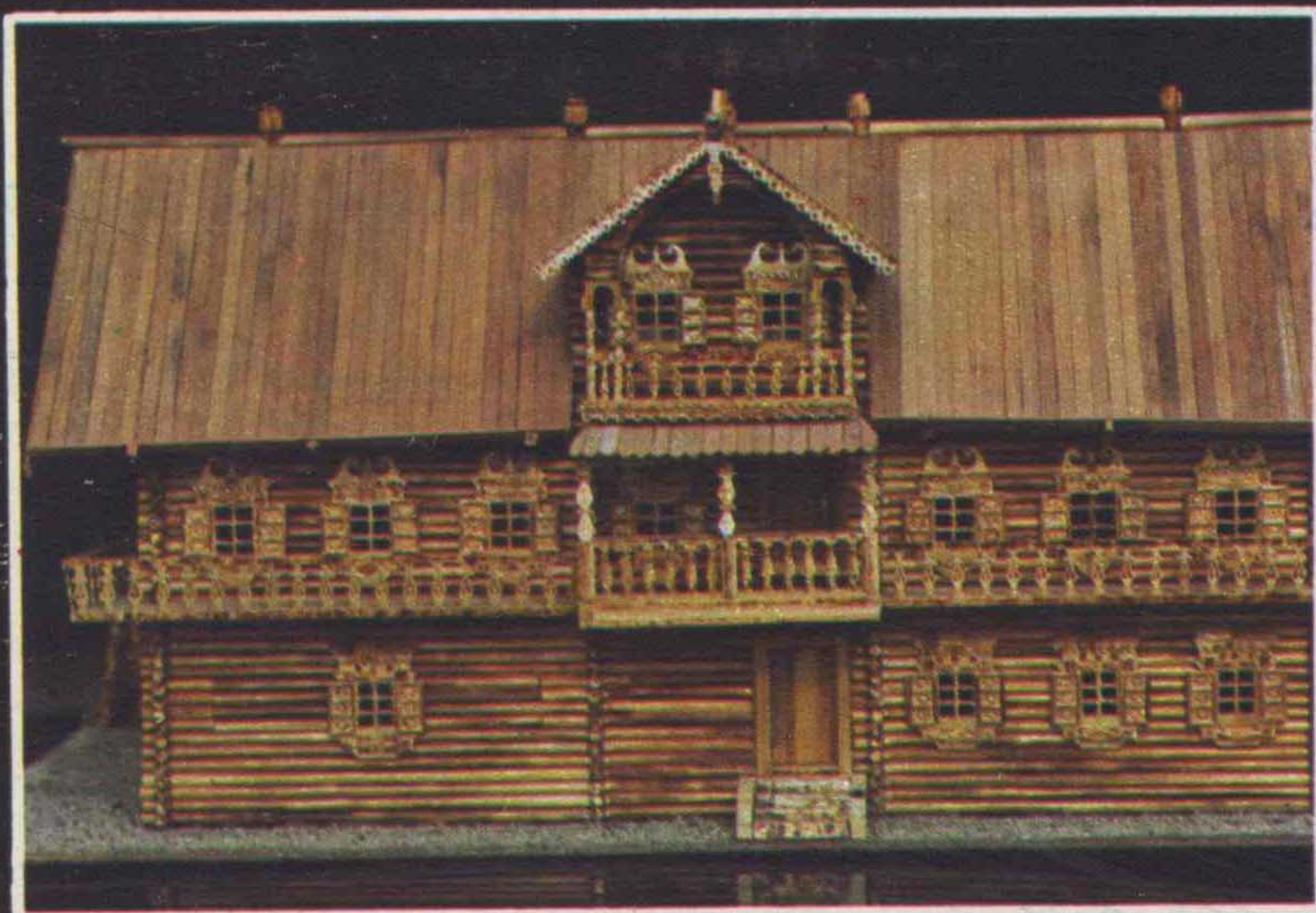
В следующем номере читайте и смотрите репортаж наших корреспондентов М. Дементьевой и С. Петрухина.

ХОЧУ СПРОСИТЬ

Дорогие читатели! В № 38 на присланные вами вопросы ответил первый заместитель председателя Гостелерадио СССР Л. П. Кравченко. В папке рубрики «Хочу спросить» накапливаются вопросы и к другим руководителям министерств и ведомств...

Наиболее жгучими из них нам представляются те, что связаны с перестройкой высшей школы, с другими проблемами специального образования. Поэтому очередной адрес, по которому отправится наш корреспондент — ваш полномочный представитель: Министерство высшего и среднего специального образования. Сообщаем согласованное время встречи с министром Геннадием Алексеевичем Ягодиным: конец декабря. Мы ждем вопросов от абитуриентов, студентов, преподавателей и родителей. Ваши вопросы просим присылать не позже 20 декабря телеграммой: Москва, 748, Бумажный проезд, 14. «Огонек», «Хочу спросить».

Напоминаем, что автора наиболее глубоких, интересных вопросов ожидает приз: подписка на журнал «Огонек».



ISSN 0131 — 0097
Цена номера 40 коп.
Индекс 70663

ОГОНЁК

Чудо-терема, знаменитые Кижы, древние русские храмы, старинные усадьбы, крестьянские избы, мельницы... Все это можно увидеть в квартире 47-летнего москвича Виктора Бахарева. Он не пользуется чертежами, специальными расчетами — выручают интуиция, глазомер. Архитекторы, которым довелось познакомиться с его творчеством, единодушно отмечают скрупулезную точность композиций, соблюдение пропорций, присущих оригиналам — шедеврам деревянного зодчества.

В кропотливой работе умельцу помогают жена и дочь — недавно ей исполнилось двенадцать лет. Не исключено, что скоро появится настоящий семейный квартет: подрастает сын Саша...

Сейчас В. Бахарев руководит кружком «Архитектура из соломки» в клубе юных техников машиностроительного завода «Красный Октябрь».

Людмила ПТИЦЫНА
Фото А. НАГРАЛЬЯНА